# ДАЙ ОГЛЯНУСЬ, или путешествия в сапогах-тихоходах. Повести.

Вадим Вадим Чирков

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

В книгу вошли три повести: «Дай оглянусь», «Дружище Лиана» и «Такая долгая война». Первые две - с элементами фантастики, свойственными манере письма автора, - носят автобиографический характер и включают ряд как бы самостоятельных новелл, объединенных фигурой главного героя.

В центре третьей повести - судьба женщины, нашей современницы, юность которой была опалена войной.

- Вместо предисловия
- ДАЙ ОГЛЯНУСЬ
- Что мы ели тогда
- Станция назначения
- Встреча
- ДРУЖИЩЕ ЛИАНА
- Салага Ваганов
- ТАКАЯ ДОЛГАЯ ВОЙНА

# Вместо предисловия

*«Пешеход творит пространство: чего только не увидит странник на своем неторопливом пути. А самолет пожирает пространство»...*

*Бывает утро, или день, или вечер идет, и ты идешь вслед своей походкой шаг в шаг. Трудно сказать, как надо вести себя, чтобы сошлось. Но только если на таком согласном ходу ты будешь на что-то обращать внимание, то оно становится тебе, как человек...»*

*М. ПРИШВИН, из книги «Глаза земли»*

К нам должны были прийти гости, надо было срочно в магазин, на улице шел дождь, а на моих туфлях треснула подошва — вот тут-то я и вспомнил про сапоги. Старенькие полусапоги, которые я зачем-то храню вот уже с десяток лет, забросив на антресоли. Достал их и стал надевать.

— Это откуда?— спросила жена. — Что за уродины?— Она про них совершенно забыла.

— Волшебные,— сказал я, топнув для удобства ногой, — один кот подарил. Давай деньги. Что купить?

— Держишь в доме всякое старье... Купи бутылку масла, хлеб

и вино. И поторопись.

Я взял сумку и вышел из дома. Сапоги были не старые, а только поношенные.

Спешить не получалось. Сапоги, показалось мне, были связаны друг с дружкой — я наклонился даже и проверил. Шаг у меня выходил не то что короткий, а какой-то при-тор-ма-жи-ва-е-мый.

Вначале я злился, но возвращаться не хотелось, а на полдороге я свыкся с неторопливостью шага. Шел, крутя на пальце пустую сумку, и от нечего делать разглядывал все, что попадалось на пути.

Сапоги то и дело норовили остановиться, и я постоял возле лужицы на асфальте. Дождь бросал и бросал в лужу тонкие проволочные колечки. Я услышал шелест дождя, сыпавшего на кусты сирени, туи и самшита,— тихий, похожий на шелест крыльев множества мотыльков. Дунул ветер — с ветки сирени сорвались три тяжелые капли и одновременно ударили по луже. Возникли круги — раздался громкий гитарный аккорд. Круги, подрожав, разошлись, звук затих, в лужу снова стали падать мелкие балалаечные колечки.

Я поднял голову. Вокруг были владения Дождя. Там и сям легко возникали высокие стены и колонны, замки, деревья. Дождь строил в нашем городе свой город — высокий, стройный, тут же осыпающийся. В городе Дождя было душисто, как в саду. Каждый листик пах, как цветок.

Я понял, что старые сапоги превратились за десять лет в сапоги-тихоходы.

Гости уже сидели за столом, когда я вернулся.

—

Заснул там, что ли?— спросила жена в прихожей.— Где ты застрял?

—

Стоял у лужи, считал колечки, — ответил я, решив не рассказывать о городе Дождя.

—

Оно и видно. Снимай сапоги, садись скорее за стол.

— Куда торопиться?— сказал я.

Я надевал сапоги-тихоходы не часто, они все же были для меня роскошью, как, скажем... ну, скажем, как туфли английской фирмы «Барон». Да и надевая уже, вспоминал: и то нужно сделать, и другое... Но поздно: только я делал первый шаг, как рождалось состояние, какое, верно, бывает, когда решишь наконец навести порядок в своих книгах или бумагах. Подвести «тог. Я выходил из дома...

Все еще спешили мои ноги и руки, спешили замечать все вокруг глаза, спешили мысли — они сменяли друг друга, подобно комбинациям стеклышек калейдоскопа. А сапоги-тихоходы не пускали бежать, и постепенно сообщаемый ими ритм передавался сначала телу, а потом и мыслям.

Бывало, что я просто глазел, многое замечая по дороге, быть может, то, чего не увидел бы, идя привычным для меня деловым шагом, шагом человека, занятого своими (а вернее сказать: не своими) мыслями.

...Недалеко от моего дома стоит высокий раскидистый тополь. Листвы на нем так много, что зеленый покров кажется телом тополя. Нет минуты, мига нет, чтобы десяток-другой листьев не трепетал; а при сильном ветре в глазах рябит от биения тысяч листьев.

Как-то утром я встал, чуть рассвело. Еще не шумели машины, во двор еще никто, кроме меня, не выходил, и прохожих не было на улице.

Была та тихая и короткая пора раннего утра, когда ночные ветры и ветерки уже улеглись, а дневные еще не принялись за дело, и тополь — весь — был неподвижен.

Но мне не верилось в неподвижность листвы, я знал, что ее не может быть у тополя, который я привык видеть полным жизни и движения, не может быть, даже когда он спит...

И я увидел то, что искал! В большом зеленом теле тополя бился один-единственный листок, не знаю, каким ветерком движимый, не знаю, какой силой. И листок... показался мне в этот сокровенный утренний час живым, бьющимся сердцем тополя.

Сапоги-тихоходы останавливали мгновения, задерживали в памяти, давая им названия, награждали пристальным интересом к событиям в природе, и все это сама Природа не оставляла без внимания.

Я полюбил бродить в сапогах-тихоходах в дождь.

Я люблю дождь — может быть, это чувство перешло ко мне от моих предков, среди которых были и земледельцы. Когда идет дождь, даже тот долгий осенний, которому, кажется, ни конца ни края, появляется ощущение, что он делает за тебя ежедневную твою работу — ту, что обеспечивает урожай на твоем поле, урожай хлеба.

Дождь работает, шумит за окном, как машина, и ты можешь отдохнуть.

Но если это летний дождь, если вдалеке, приближаясь, гремит гром — мир тогда невиданно расширяется...

А потом вдруг сужается до зрачка подзорной трубы, через которую видно, что творится наверху.

...Гром ворчит, как пес. Как разморенный жарой и духотой пес, который видит, лежа в будке, что к его кости, обглоданной и чистой, бочком, бочком подкрадывается щенок.

Ворчание его, ленивое и приглушенное — этакий предупреждающий рокот — полно, однако, мощи.

Щенок смелеет. Он, будто играя, то припадая на передние лапы, то опять прыгая, все-таки подбежал и схватил кость.

Пес рявкнул. В одно мгновение он выскочил из будки. Пушечно громок его рык. Щенок выронил кость и удрал, а громовый рык прокатился по всему небу, руша снеговые горы облаков, вызывая на них обвалы.

И вот, почудилось, проснулся и вышел во двор хозяин, разбуженный псом. Сверкнул вверху кнут, щелкнул резко — и оглушительно загрохотал огромина-пес, мечась возле будки, скаля белые зубы, звеня цепью, бросаясь, непокоренный, вышедший из повиновения, на хозяина, который раз за разом взметывал сверкающий кнут и опоясывал им бушующего пса.

Сшибленная одним из могучих бросков пса, упала бочка с водой, твердь не выдержала, треснула — и на землю хлынул дождь...

Дождь сыпал щедро — и асфальт уже темен, он блестит, как река, машины оставляют на нем белесые следы шин; дождя так много, что машины похожи на рыб, снующих внизу... На тротуаре вырастают один за другим разноцветные грибы зонтов...

А дождь все льет и льет, и деревья празднично и весело мокры, и каждый освеженный водой лист душист по-весеннему, и повсюду запах свежести и цветов и взбитой дождем пыли, которая пахнет аппетитно, как известка в детстве, а небо уже сереет, в его крыше появляются ярко-голубые щели, облака бегут все быстрее, и вот уже ветер достиг земли и тряхнул дерево, сыпанули вниз капли...

# ДАЙ ОГЛЯНУСЬ

# Что мы ели тогда

*Уже две недели стоял туман, такой густой, что из окна казался снегом. Все было мокро, ни одного сухого места не оставил на земле туман. Каждая ветка куста или дерева украсилась полными чистыми каплями, которые то ползли, чтобы, слившись в одну, упасть, то чуть покачивались и вздрагивали подобно сережкам.*

*Небо вместе с солнцем, луной и звездами исчезло. Его плотно завесил туман, доступ к небу был прекращен, оно, видимо, было закрыто на какой-то там переучет.*

*Дни шли настолько одинаковые, что казалось — время остановилось- Время завязло в тумане — и все тот же день вставал каждое утро все после той же ночи...*

*Из-за тумана, сырости и слякоти у меня пропало одно воскресенье, и я со страхом ожидал следующего, потому что день обещал быть таким же пустым и бездельным: ни прогулки в такой день, ни работы.*

*И когда утром в субботу я выглянул в окно и снова увидел белизну вчерашнего тумана, сердце мое тоскливо сжалось. Но я ошибся! Мимо окна, покачиваясь, проплыла снежинка, другая села на подоконник, тротуар был уже бел, на ветки деревьев ложились пушинки снега.*

*И день из-за падающего снега показался мне милым, уютным, наполненным наконец-то делом и смыслом...*

*А назавтра, когда уже дул ровный холодный ветер с севера, светило солнце и градусник показывал восемь ниже нуля, я поехал, стосковавшись по настоящему белому снегу, в поле.*

*И только ступил на широкую белую площадь, сойдя с дороги, как ошалел от простора, праздничного сияния чистого снега, от высоты синего неба, от огромности мира, открывшегося после тумана.*

*На снегу не было ни одного — ничьего — следа. Снег напоминал парусину: ровный ветер всю ночь гнал крупинки снега в одну сторону, и те исчертили полотно частыми строчками.*

*Под моими ногами сухо и звонко похрустывала, похрумкивала корочка наста, а когда я останавливался, слышалось легкое шуршание, почти шелест катимых по парусине крупинок — да иногда еле уловимое гудение высоко вверху самого ветра, про которое я, усмехнувшись, подумал: труба Архангела.*

*И так нетронута была поверхность снега, так бела, что показалась она мне чистой страницей, и захотелось (в руках была палка) написать на ней что-то — тому, кто выйдет в поле за тем*

*же, что и я.*

*Я поискал слово, достойное снега и простора, высоты неба и синевы его, и чуть слышного шуршания крупинок по насту... Поднял палку, чтобы написать, опустил: не то..., И в конце концов решился, написал на снегу одно только слово: С Л У Ш А Й*

*Я обошел страницу по низинке и направился, похрустывая настом, к видневшемуся на краю поля длинному соломенному домику под белой крышей, чтобы вырыть в нем нишу и посидеть напротив подслеповатого зимнего низкого солнца, слушая снежную тишину и гудение ветра высоко вверху.*

* * *

...Это неминуемо должно было случиться — что сапоги-тихоходы заведут меня в давным-давно не наведываемую местность. Местность эта — некогда целая земля — стала архипелагом маленьких островков, — все, что оставила мне память от громадного мира, мира детства.

На второй год войны мы стали собирать ржавые болты, тяжестью и формой похожие на гранаты. Они валялись на месте снесенного склада. Там стоял теперь штабель сожженных старостью балок и досок; земля под складом была утоптана, тверда, а кое-где промаслена. Трава долго не брала ее, потом, под солнцем, земля потрескалась, разошлась, и из щелей полезли острые зеленые травины.

Болты приходилось выковыривать шпиголями — четырехгранными свайными гвоздями. У каждого был такой шпиголь, ими мы играли «в землю», швыряя гвоздь за острие и деля меж собой игровой круг. В войну, когда немцы втыкали в нашу землю снаряды, игра эта подсознательно вошла в мальчишескую жизнь. Мы с редким ожесточением оборонялись и нападали и радовались возможности отхватить у противника кус круга.

Когда болтов набралась куча, мы вырыли неподалеку от склада яму и сложили их туда. Только немцы появятся на нашей Набережной улице — мы уже видели их строй, покачивание штыков, красные лица и открытые для песни рты,— как наша четверка забросает немцев с крыши вон того дома гранатами.

—

А если немцы будут в касках?— спросил Мишка.

—

Ну да,— сказал Ленька.— Они ведь будут в касках.

—

А чего им в касках-то,— рассудил Колька, которому на год было больше, — им кого здесь бояться, кроме нас,— а о нас-то они и не подумают.

И правда, в поселке судоремонтного завода немцам бояться было некого. Все, кто мог, воевали; мужчины остались только в пожарной команде, которой, поразмыслив, придали еще и функции милиции; на заводе — и то лишь старые да многосемейные; и речники. Женщины давно уже понадевали комбинезоны и даже грузчиками стали женщины, быстро научившись сквернословить и курить.

— О нас немцы и не подумают,—согласились мы, и Колька стал закапывать яму. О том, что может случиться дальше — после того, как мы кинем в немцев тяжелые болты,—не думалось. Мы удовлетворились первой, очень впечатляющей картиной: в немецкий строй летят наши гранаты — прямо в их красные лица.

На реке, которая сильно мелела летом и оставляла нам белые песчаные берега, мы часто, набирая в горсть песку, измеряли таким образом силы немцев и наши. Наших вот столько, говорили мы, и песку набирали пригоршни; а немцев вот только сколько — показывалась щепотка песку... Но и этого казалось нам мало. Наших столько, сколько песку на всем берегу; а немцев столько — на ладони была все та же щепотка.

Война была пока далеко — где-то за правым высоким и лесистым берегом Вятки. Только однажды я услышал войну — ее передавали по радио с какой-то батареи. Залпы пушек, хриплый голос командира: «По фашистским захватчикам... огонь! Огонь!..» Репродуктор трещал, не выдерживая нагрузки. Мама выключила радио — я не понял, почему, но оставил вопрос на потом. Сейчас знаю: там, среди грохота, был отец.

Наши отцы — Мишкин, Колькин и мой — ушли на фронт. Ленькин остался, потому что—пожилой и еще незаменимый мастер на заводе, и детей у него много, пятеро. Ленькина мать — соседи звали ее Аришкой — вечно ходила с приподнятым животом; и снова ее живот подпирал старенький фартук: ожидался шестой. Они были беднее всех, и Ленькин отец говорил нам: «Вы Леньку, если что, за столом не забывайте». Нам было легче, нас у матерей было по одному. Мы кивали на это и в школе делились с курносым Ленькой вареной картошкой в мундире и хлебом.

Ленька в благодарность говорил, что нашел способ насыщаться: «Надо сразу большими кусками и не жевать долго, тогда не скоро есть захочешь».

Среди нас было принято хвастаться бедностью. Бедность, по нашему тогдашнему разумению, — честь. Особого рода, она

лучше всех достоинств украшает человека. Мы даже спорим, кто из нас беднее. Кольке в этих спорах приходится молчать: его мать — швея и кое-что прирабатывает сверх зарплаты. В их доме два самовара, а башмаки осенью Колька надевает новые. В минуту злости мы можем крикнуть ему, конечно, уже подбегая к своим дверям:—буржуй!—и разъяренный Колька долго колотит в дверь ногами, а потом взбирается на завалинку и, отыскав тебя в полутьме комнаты побелевшими от гнева глазами, грозит расправиться.

Ленька пользуется правовой неприкосновенностью. Даже сделав какую-то пакость, он редко получает по шеям; его тут же кто-нибудь защитит, сказав:— «Не тронь, он же бедный!» И тот, на ком целее штаны и крепче рубашка, сразу поймет преступность занесения над Ленькой кулака: бедных нельзя обижать. На Ленькином заду две симметричные заплаты, он вовсе маленького роста, с красным носиком картошечкой-скороспелкой, забияка, ловкий рыбак, хитрец и подхалим. Но, обидев его, какую чувствуешь вину! Он уходит, вздрагивая худенькими плечами, растирая драным рукавом и без того красненький носик... А чуть повернешься, залепит тебе комком земли между лопаток и улепетнет; а какую злорадную фигу покажет в окошко!

Белый хлеб исчез мгновенно, словно его никогда и не было. У нас на полатях в мешке убывали сухари, среди которых попадались и белые. Белые сухари мать сложила потом в отдельный мешочек и выдавала мне по одному в воскресенье. Когда на дне остались крошки, мы сделали тюрю с молоком и съели ее. Так мы попрощались с белым хлебом на недобрых семь лет.

Немцы все не приходили, но яму с гранатами мы навещали, проверяя, цел ли прутик над ней. Взрослые о болтах не знали ничего. Да и узнай они, посмеялись бы или рассердились: баловство, мол, придумали. У матерей заботы были поважнее. «Главное — чтобы дети были сыты, обуты и одеты»— эту фразу мы слышали в их разговорах чаще всего. Это их «главное» протянулось на многомного лет, и на послевоенные годы. Только потом я понял, как мне не хватало слова. Особенно отцовского. Может быть, и он думал там, под Воронежем: мальчишка будет без отца. А после началась атака, слепая от слез, выбитых снежной шрапнелью, слепая оттого, что враг не виден — он выставил далеко перед собой колючие и жесткие пики пулеметных очередей; слепая потому, что ушло сознание, оставив только крик, которого он и сам не слышал, и бег, бег навстречу темноте — в она поглотила моего отца, и меня в нем, и маму, и наш затон, и наши пароходы, и наш дом — всё.

Сколько раз мне потом нужен был отец, сколько раз!

— Пошли на ту сторону,— звал Колька. «Та сторона»— это другой берег затона. На той стороне лежали заливные луга, стояли дубовые перелески, там нас ждали озерки, оставшиеся от весеннего разлива, черемуха, птичьи гнезда. На той стороне к июлю зрела полевая пахучая клубника и бело колыхались ромашковые поляны. Ромашки были нам по пояс, а Леньке по грудь.

У Кольки была лодка. Он выносил весла, отпирал замок, который держал лодку у могучей коряги, и скоро мы шли по лугу, останавливаясь только затем, чтобы вытащить из пятки колючку или ромашку, застрявшую меж пальцев босой ноги. Обуви на лето нам не давали, да и сами мы считали это бог знает какой роскошью и барством — носить летом обувь.

Мы шли и говорили о фрицах, против которых встали наши отцы; о том, как Ленька в прошлый раз нашел гнездо кряквы с одиннадцатью яйцами — всем на обед хватило, о том, как и почему горел пароход «Некрасов»... «Некрасов» горел на подходе к нашему поселку, его спешно разгружали, бросали ящики в воду — и речной прибой долго выносил потом на берег размокшие пряники, объеденные рыбой, и папиросы. Ясно, что мы радовались этим пряникам.

На лугах рос дикий лук; пироги с диким луком были что надо. Лук мы продавали пучками на пристани проезжим по полтиннику. Многие из них видели лук впервые и покупали его из любопытства. В июле лук расцветал, вынося поверх трав фиолетово-розовый цветок, и становился жестким и непригодным для еды.

Второй прелестью лугов была клубника, мелкая, но сладкая и пахучая.

Третья радость — разжечь костер. Удивиться тому, что такое большое пламя происходит от одной спички. Так она и называлась — костер жечь. Всякий раз мы припасали для той стороны картошку, чтобы испечь ее в золе.

У костра мы сидели дотемна, пока кто-нибудь вдруг не находил у себя в кармане ключ от дома. Тогда мы дружно мчались к лодке, зная, как может попасть забываке от матери, которая ждет его на крыльце или у соседки. И первым несся, подвывая от страха, он, а ключ был уже в руке.

Если же все было в порядке... огонь поднимал над собой рой невесомого пепла, пепел плясал над костром и мягко садился на наши голые колени и руки. Колька ворошил угли обгоревшим сучком и рассказывал страшное, нагоняя на нас жуть. Спину наши леденели. Видя перед собой округлевшие глаза, он ожесточался и

замирающим голосом пугал:

-И подходит ко мне какой-то человек, весь черный, и...

Темнота набегала на нас, сужая светлый скачущий круг костра, сгущалась за костром в чьи-то силуэты. И вдруг вечер раздирал дикий Колькин вопль. Он вскакивал и исчезал. За ним срывался Мишка. Мы с, Ленькой цепенели, но все-таки кидались за ними, поворачиваясь к враждебной темноте грудью, бежали за белеющими рубашками по уже мокрой от росы траве.

Наградой за страх была картошка в твердой обуглившейся скорлупе.

Дома нас ждали матери. Им было одиноко, и они долго злились на нас за то, что мы опаздываем, что нас нет. А потом, отругав и несколько раз в сердцах предложив навсегда покинуть дом—ухода куда хочешь! — оттаивали, чинили порванные штаны и рубашки, поили чаем с вареньем из лесной малины с сахарной свеклой, а ночью подходила к постели, чтобы подоткнуть одеяло. Повздыхав и поворочавшись, матери засыпали.

Когда я вставал, матери не было дома. В печи стоял чугунок с едой, в комнате было чисто, а на спинке стула висела выглаженная рубашка.

И еще был лес. Поселок окружали леса — сосновые и смешанные, редкие и глухие, с непременными «черными» болотами, волками... Лес был полон ягод — черники, малины, земляники, голубики,— грибов. Белесый, зеленоватый курчавый мох скрывал в своей пене коричневые шляпки белого гриба, ядреного, на крепкой ножке, похожей на бочонок.

Строй бронзовых сосен вдруг редеет, сквозь него сочится голубизна. Она выводит на солнечный луг, на котором, кажется, не бывал человек. Прямо из-под ног вспорхнет перепелка, густую траву прочешет рыжий заяц; пробежит, остановится столбиком, поглядит назад, поводя чуткими ушами, и сгинет в ложбине. Луг клонится к речушке без имени, весеннего разливного происхождения, с чистейшей водой и травянистым, причесанным течением дном...

Испуганно всплеснет крупная рыба, пустит круг по небыстрой воде... За речушкой шумит листвой дубняк. И нет вокруг никого — только птицы, и такой простор такая ширь открывается вдруг, такая бесконечность лугов и лесов, что поневоле бросаешь корзинку, несешься по траве, гикая, кувыркаясь, срывая на бегу крупные, в пол-ладони, ромашки.

А то голубизна выводит к хлебу. Такое же бесконечное поле — будто натянуто по-над землей желтое полотно, на котором резвится ветер,— и непроницаемой низкой стеной стоит вдалеке лес, кажущийся неведомым, сумрачным, чужим.

И еще были грозы. Грозы на Вятке бешеные. Они налетают неожиданно. На землю обрушивается вихрь, он мечется по лугу, прижимает и мнет травы... Туча сиза,— она пронизана молниями, она сыплет градом,— не найти места, куда можно спрятаться от грозы. Но... минута, пять — вихрь улетел. Поднялась мокрая трава, солнце заблестело в каждой капле, и вот уже подает несмелый голос, словно начиная перекличку, какая-то птаха... Гроза ушла.

А зимы были скрипучие, как крахмал, который мы добывали из тертой картошки. Из крахмала варили студенистый густой кисель (похож на осенний туман), он служил вторым блюдом — уж и не вспомню, чем его "заправляли...

Картофельные зимы военных лет... Картошка, говорили тогда, — второй хлеб.

Хлеб с картошкой, котлеты из картошки, оладьи из тертой картошки, пельмени с картошкой, пироги с картошкой, ватрушки с картофельным пюре, картошка в мундире, картошка жареная, печеная, картовница... Интересное, кстати сказать, блюдо... Картошка варится вместе с луком, разваривается до состояния каши, даже жиже, наливается в тарелку. Сверху накапывают конопляного масла, придающего остроту и запах кушанию. Так и вижу сейчас вкусные монетки конопляного масла на поверхности водянистой стынущей картовницы...

Если тыквенную кашу сдобрить сливочным маслом, получается совсем неплохая еда, и ради разнообразия почему бы иногда не отведать тыквенной каши?

Ради разнообразия.

Я иду с огорода и несу в мешке тыквы. Я крепкий парнишка и невелик труд с остановками принести домой три-четыре тыквы. Но почему подгибаются ноги, а мешок сползает со спины и режет плечо? Непонятно... Я сажусь возле дороги, опираюсь спиной на мешок и жду, когда слабость уйдет. А она не проходит. Встаю — и темнеет в глазах. Пробую поднять мешок, но он не дается. Я снова сажусь и закрываю глаза. Меня закружило, кудато уносит. Я чувствую тошноту, валюсь на бок, не в силах справиться с кружением.

Я засыпаю?

Я заболел.

С тех пор я не могу видеть тыкву.

Следующий мой выход на улицу уже зимой, на базар.

Зимний русский базар — это скрип. Мерный — от валенок, визгливый — от полозьев, похожий на треск — скрипят под тяжестью мужика затвердевшие на морозе сани; поскрипывает кожаная упряжь и позванивают колокольцы на дуге.

Посельчане, расхаживая, продают самовары, зеркала, часы; летнюю, еще довоенную одежду — странно видеть на морозе яркое, с бантом, платье; крестьяне, притоптывая, торгуют мороженым молоком, мучицей, редко — коровьим маслом, всегда — репой. Картошку, лук и морковь жители поселка выращивают сами.

Торгуются нещадно. Отойдя и махнув рукой, расплакавшись от обиды, обозвав хозяина муки кровопийцей, подходят снова. Каждый шаг — скрип, каждое слово — клуб пара.

Над всем живым клубится пар.

Иней покрывает все: выпавшую из-под платка прядь, брови, ресницы, усы, бороду, воротник тулупа и пуховый платок — и глаза выглядят незащищенно, как родник посреди снега.

Лошади побелели от инея.

В воздухе радужно сверкают искринки, которых особенно много в районе базара, над спорящим людом.

Искринки — это замерзшие слова.

И неумолчно скрипят валенки, вкусно, словно уминая свежую капусту.

Мы с мамой несем с базара два желтоватых круга мороженого молока, мешочек ржаной муки и пяток реп для меня. Мяса мы не купили: в сараюшке, прилегающем к стене нашего дома, я держу кроликов. Они живут в норах.

Дома я полосками сдеру с репки кожу и стану есть ее — сочную, морозную, чуть горьковатую, чуть сладковатую.

В лед затона вмерзли пароходы. Длинные, белые, двухэтажные — пассажирские; широкие посередине — как в галифе — буксиры. Пароходы совершенно пустые, занесены снегом, молчаливые, Их охраняет тетка в огромном тулупе, она ходит, поглядывая на измочаленные об осенний лед плицы, и время от времени свиристит в милицейский свисток.

Весной, после ледохода, суда покинут затон и, уходя от пристани, будут долго прощаться: ту-тутуу-тууу...

В воскресенье мы привязываем к валенкам коньки, вооружаемся деревянными молотами и летим мимо пароходов по ровному льду, припорошенному снегом, мимо поселка — к мелкому и широкому месту затона, где ветер смел снег, и лед — прозрачный. У берега он тонок и сквозь него видны водоросли и коричневое илистое дно. Подо льдом живет рыба. Зимой она малоподвижна и не сразу убегает— тогда трахаешь молотом по зеленому стеклу — оно трескается — белые лучи стремительно рисуют звезду,— а рыба переворачивается кверху брюхом. Еще несколько ударов — и пальцы окунаются в воду и прикасаются к скользкому рыбьему боку.

На льду рыба мгновенно застывает, но острый запах ее уже сопровождает твою охоту.

Иногда можно настичь щуку, забредшую на мелководье, и, дрожа от нетерпения, разбивать лед, потому что щука пытается уйти, двигает хвостом, кружится на одном месте и старается перевернуться на брюхо.

Вытащив рыбину на воздух, орешь во всю мочь и потрясаешь щукой — а охотники слетаются к тебе со всех сторон, чтобы, позавидовав немного, кинуться и себе искать такую же добычу.

Из всех таких дней — сколько их было!—сохраняется в памяти один: когда лед самый прозрачный, когда лучи звезды разбегаются по льду особо стремительно и длинно, и ты вдруг понимаешь, что еще не раз вспомнишь это; когда, несмотря на зимнюю короткость, день долог, и кажется даже, что кто-то приостановил, попридержал его для тебя; когда все-таки подступающие сумерки принимаются без сожаления, как должное и нужное... Сумерки скрывают этот день, но за их завесой он не гаснет, он остается там же, где ты увидел его,— и никогда не гаснет. В этот день можно вернуться.

И еще сохранились в памяти зимние вечера, когда весь мир занесен был снегом, над нашим маленьким поселком нависала бескрайняя ночь, а за окном, раскачивая дом и звеня стеклами, бушевала вьюга.

Тускло горела лампочка над столом, где мать шила что-то на машинке или чинила старье, стрекотала машинка, тикали ходики...

Но если вьюжный свист заглушал их, начинало казаться, что никогда уже не кончится ни эта вьюга, ни эта ночь, и снег не покинет больше землю,— и мать истовее принималась строчить.

Я знаю, шитье и штопка были необходимы; но еще нужнее была матери эта работа — и особенно неумолчное стрекотание машинки,— чтобы заглушить растущий внутри страх перед стихией, перед нависшим над ней одиночеством, перед незащищенностью от всего, что могло случиться завтра пли послезавтра.

За ночь вьюга заносила дома чуть ли не по крышу; по окнам было видно, как поднимается уровень снега. Нельзя было и думать о том, чтобы выйти куда-то в такой вечер; жизнь в поселке пряталась в дома. А вьюга, разгулявшись на просторах и споткнувшись о горстку домов, носилась, не зная удержу, над низенькими крышами, билась с размаху в стены и стучалась, грозя, в светящиеся окна, гудела в трубе, свистела, выла — злая ведьма Вятки, зимняя ночная владелица этих мест. Вьюга казалась мне чем-то похожей на войну.

На ночь электричество отключали; перед отключением станция подавала знак миганием лампочки,— тогда срочно стелилась постель, плотнее запирались двери, закрывалась печная заслонка.

Свет гас, вьюга гудела сильнее, теперь было слышно, как скрипит и потрескивает, качаясь под ее бешеными ударами, старенький дом, как шарит она снежными лапами по стеклу.

Вот тогда-то приходили мысли об отце. О том, где он лежит, держа винтовку в руках, в эту страшную ночь, как выдерживает ее гнет, думает ли о нас; сознание напряженно вслушивалось в ночь, в космический ее простор, ловя в шумах ночи неслышные уху сигналы живого присутствия на земле родного человека. И эти сигналы долетали из снежного далека, и мы слышали их, и отец виделся нам живым, держащим в руках винтовку, думающим о нас...

Возвратился с войны отец Яшки Корякина. Без левой руки. Мишкина мать получила извещение о гибели мужа. Мы окружили Мишку вниманием. Он принимал его как должное. В хлебной очереди целую неделю Мишка стоял впереди нас, потому что, говорили мы, им сейчас трудно.

От Колькиного отца писем не было уже полгода. К нам в дом постучалась цыганка, и мать, не терпевшая их и не верившая им, впустила ее вместе с облаком пара. Пар рассеялся, цыганка прогрохотала стылыми сапогами по кухне. Она показывала чудеса. Опускала крестик в воду, и вода вскипала. Коричневые и грязные ее пальцы так и мелькали, за ними невозможно было уследить. Цыганка вынула зеркальце, мать боялась заглянуть в него. Цыганка смутно толковала о могущих быть переменах — что еще она могла пообещать? — и зыркала темными глазами по комнате. Она исчезла, как и пришла, в облаке пара, унося две ватрушки и старую-старую мамину шаль. Унесла она и кусочек мыла с рукомойника—потом мы его хватились.

Пришло письмо от отца: «...иду в бой; останусь жив, сообщу». Видно, отец уже привык к смерти и говорил о ней, как о том, что случается у них часто и происходит легко и нестрашно.

Нам не пришлось бросать с крыши болты в немцев: их остановили, а потом погнали назад. Они не дошли до нашего поселка, хотя, по слухам, из ближайшего города было видать далекое зарево войны.

# Станция назначения

*Отцу моему посвящается*

Поезд увозил Алексея на войну. На войну, знал Алексей, на войну, думал он, поднимаясь в вагон, замедленными движениями размещая на нарах вещевой мешок, расстегивая крючки шинели; на войну,— хотя научен был говорить: фронт.

Повестку он получил два месяца назад. Была та поздняя пора осени, когда и земля и деревья давно уже оголились, а снег все еще не упал. Только что прошли последние дожди, и ударил морозец: бревенчатые стены домов, заборы, стволы деревьев чернели и блестели наледью, грязь тоже схватило, облило скользким льдом, лужи затянуло белесым ломким стеклом. Все было обнаженно сейчас, казалось даже прозрачным, все ждало снега, он где-то задержался, приостанавливая наступление белой зимы, и, казалось, время тоже оцепенело, схваченное морозцем,— чтобы двинуться дальше, когда упадет снег.

Дни были короткие — всего лишь сумрачные просветы между длинными ночами; ночи, как бочки водой, наполнялись тиканьем настенных часов. В один из таких дней Алексея и других, а их набралось человек пятнадцать в поселке судоремонтного завода и ближних деревнях, провожали на войну.

Повестка мало что сказала сознанию: сознание не знало войны. Война была пока что далеко от его поселка, и она, догадывался Алексей, нисколько не была похожа на срочную его службу в армии, на марш-броски, на учебную стрельбу, на учетную атаку, на учебное ура. Война была другое, и острее всех ее чувствовали женщины — каким-то особым бабьим чутьем. И это их чутье так или иначе передавалось в день проводов мужчинам, которые, будучи вкупе, сперва старались храбриться — смеялись, балагурили, обещали скорую победу и возвращение, а потом все чаще останавливали на чем-то глаза, замолкали, затворялись в себе, поверив вдруг бабьему вещему страху и вою.

Вся толпа шла к парому: новобранцы, их жены и дети, матери и отцы.

Вдруг начиналась песня, разудалая, пьяная, слепая в своей бесшабашности, с коротким, во всё горло, вскриком и яростным приплясом. Но песня обрывалась чьим-то воплем:

— Прощай, Миша-а-а!

Паром отвалил. И в ту же минуту в сером воздухе замелькали снежинки. Они опускались в темную, быструю, непрозрачную воду, полоска которой между паромом и берегом все ширилась.

— Алеша-а-а! — закричала жена.— Алексе-е-ей!

И все женщины стали выкрикивать имена, только имена и ничего больше, будто в том, что они их выкрикивают, есть какой-то особый, опять-таки одним женщинам ведомый смысл, будто этот крик, превратившись в эхо, поможет вернуться тому, чье имя громко произнесли в этот день.

Паром удалялся. Снег скрадывал провожающих. На длинном низком берегу группка людей становилась все меньше, все незаметнее. Но она не расходилась, никто из нее не ушел, как это бывает при расставании ненадолго. Все видимое пространство теперь занимал падающий снег. Снег шел сильнее и сильнее,— и время сдвинулось с места, на землю пришла белая зима. Снег занавесил поселок, реку, и уже повсюду был снег, и грунтовая дорога от переправы проглядывалась не больше чем на пять метров.

В кузове машины, куда погрузились новобранцы, наступило молчание, и, если бы не шум мотора, можно было бы услышать неживой шелест падающего снега.

В вагоне из земляков осталось только двое — Пашка, тот, что играл по дороге к парому на гармошке, и Николай, служивший до повестки тоже на пароходе, вторым помощником. С Николаем Алексей был связан еще и тем, что женат тот был на подруге жены, широкоскулой рослой Ане, работавшей счетоводом в ФЗУ. У Алексея был сын, у Николая — дочь, и, конечно, отцы, шутя, уже поженили их.

Николай был выше Алексея, полнее, казался уверенней, даже бывалей товарища, хотя оба все тридцать лет прожили в поселке, вместе учились в Казани в речном техникуме и нигде дальше своих недальних рейсов не бывали. Николай легко заговаривал со всяким и с первых слов подавлял его, очевидно, давалось это голосом, от природы крепким и грубоватым, идущим на одной самоуверенной ноте.

Сейчас Николай разговаривал с лейтенантом, молоденьким пареньком, чей до сих пор напряженно-командирский, искусственно бодрый тон, претерпев неудачу в борьбе с категоричностью Николая, сорвался наконец, сник, стал жалобным, мальчишечьим; лейтенант, сам почувствовав это, часто отворачивался от Николая и подолгу молчал, только этим и намекая, что с удовольствием побыл бы один. Николай же не отставал, и голос его начал раздражать Алексея.

Пашка приложился щекой к гармони, уставился на огонь в железной печурке и перебирал пальцами кнопки, едва-едва наигрывая «Полюшко».

Алексей пошевелился, встал и подошел к окну. Взобрался на

нары, потеснил дремлющего Назарова и стал смотреть в серый прямоугольник, в котором проносилась приведенная снегом спутанная сетка дубовых веток с гроздьями рыжих листьев, зеленые пучки сосновых игл с белыми шапками на них. А то сетка обрывалась, и взгляд уносился в белую неоглядную равнину, серо сливающуюся вдали с небом; на равнине стояла одинокая ель, похожая на остромордую, воющую в небо суку.

Мелко стучали колеса по огромному заснеженному пространству, и Алексею, начавшему забываться из-за суеты, усталости и множества разных впечатлений последних месяцев, вдруг почудился широкий белый холст, медленно ползущий под иголку стрекочущей швейной машины. За машиной сидела его мать и подправляла пальцами холст, волнами складывающийся у нее на коленях. Кто-то сказал внятно: «Алексей!» — и он очнулся. Еще раз глянул на разлапую ель, уже в который раз показывавшуюся в разрыве сетки, и вернулся в свой угол.

Окно потемнело, на стене и потолке играли огоньки от печурки, низ трубы раскалился. В вагоне молчали.

Николай тоже угомонился, лежал, заложив за голову руки. Лейтенант, так же как Алексей, вжался в угол — темные впадины глазниц занимали много места на худом мальчишечьем лице.

Даже после двух месяцев подготовки, после того, как были повторены строевые приемы и изучены оружие и варианты боя: «В случае, если противник...», даже после того, как враг был назван противником,— война не стала чем-то реальным, легко представляемым, она оставалась грозной и неумолимой силой, непонятной, как стихия, слепой и беспощадной, как огонь.

Война виделась Алексею заревом. Заревом к которому они приближались. На его родине часты пожары; высоким пламенем горят деревянные дома, и тогда над пожаром загорается все небо. Зарево видно издалека — красная и багровая стена до самых звезд; и они приближаются к этой стене, а она медленно движется к ним по белому холсту, и холст горит, чернеет, обугливается и сворачивается, а люди, тонкие мечущиеся фигурки, крохотные, как муравьи, рядом с гигантским пламенем, гоже сгорают, и ничего от них не остается.

— Николай!— позвал вдруг Алексей, словно испугавшись чего-то.— Коля!— Позвал и тут же пожалел и захотел, чтобы тот не отозвался: Алексей не знал, что спросить, о чем говорить — так много нахлынуло всего, что не имеет формы слова, речи, даже вопроса. И поэтому, когда Николай поднял голову, смятенно сказал ему:— А... это... мы консервы давай с моей банки начнем, а то ведь если обе откроем, попортиться могут...

Николай, ждавший другого вопроса, уронил голову.

—

Давай с твоей...—Но, оторванный от своих дум, снова повернулся к Алексею, заворочался, лег на бок.

—

Слышь, Леха, твой-то ревел у парома! И моя Ритка разревелась...— Он произнес это с той гордостью, которая отличает молодого отца, хотя Ритке его было уже семь.

—

Мой тоже,— ответил Алексей, поскорее стараясь вспомнить лицо сына, и вспомнил уже, но сына быстро застлал падающий в реку снег; оказалось, что память почему-то обратила внимание на снег, задержала его у себя, и каждый раз, когда нужно было вспомнить необходимое, опускала перед ним белую завесу.

—

Моя ух как ревела,— с гордостью повторил Николай и тут же посожалел:— Все равно скоро они забывают, дети-то...

Лейтенант смотрел на Алексея темными впадинами на лице, и Алексей застеснялся его почему-то, словно слово «дети» относилось к нему.

— Ничего,— сказал он,— если забудут, напомнят им,— и, чувствуя на себе взгляд из угла, спеша заговорил, скорее для лейтенанта, чем для Николая:— Я у Славки своего про деда спросил, про отца моего — он ведь два года назад умер: помнишь ли, мол, деда Максима?— и он знаешь что ответил? Серьезно так ответил: мол, помню, только не все время, ну, то есть не каждый час, а когда только спросят о нем, или случайно... Он думает, что если уж помнить, то каждую минуту надо... Вот...— И сконфузился, потому что не знал — понятно ли то, что он сказал, и на самом ли деле так уж важно было рассказывать это сейчас.

— Если забудут, напомнят,— повторил, он, чтобы заполнить голосом пустоту паузы, и вдруг подумал, что говорит так потому, что считает себя уже погибшим. Николай, наверное, тоже понял это. — Чего ты,—проворчал он,— раньше времени... Вагон качало, все так же мелко стучали колеса, окно было уже черно, печурка по-прежнему бросала на стену огоньки; кругом уже спали, храпели, лейтенант закрыл глаза — он остался сидеть, голову его мотало... Черноту окна прожигали искры — Алексей чувствовал натугу паровоза, тянущего длинный многоногий состав; паровоз трудился, точно преодолевал какое-то притяжение, особое, существующее помимо земного и связывающее поезд со станцией отправления.

Ночью были остановки; шипели тормоза, потом по всей длине поезда пробегал лязг буферов — Алексей следил его бег и ждал, когда он дойдет до их вагона; вагон встряхивало, и тогда

слышались свистки дежурных, их голоса; по потолку и стенам рыскали фонари, кто-то поднимал голову и хрипло спрашивал: где стоим?, кто-то подымался попить воды, оттаскивал дверь, выглядывал, дышал морозным воздухом, кашлял, закуривал, и в темноте долго то тлел, то разгорался уголек цигарки, а когда фонарь врывался в вагон, Алексей видел чье-то лицо на верхнем ярусе: кто-то выглядывал в окошко, пытаясь понять, где встал поезд, и, зевнув, прятался под шинель.

Воздух в вагоне был спертый, тяжелый; сонное молчание людей прерывалось то всхрапом, то скрипом зубов, вскриком, ворочанием, кашлем.

Скоро раздавался колокол, вдали лязгали буфера, лязг приближался, нарастал — вагон дергало. Он скрипел, колеса поворачивались, достигали первого стыка рельсов, огни пропадали, в окошке проносилась первая горсть искр; колеса снова начинали мерный перестук —и поезд снова летел в темном белом пространстве, которому, казалось, нет и не будет, не будет конца.

Несмотря на усталость, всю ночь Алексей видел сны. Крикливо распекал его лейтенант за то, что у винтовки не оказалось затвора; мимо строя, в котором он стоял, проходила жена Клава, но, даже узнав его, не останавливалась — была она почемуто в шинели и шапке... Во время его вахты пароход сел на мель, и мель эта на глазах превращалась в песчаную косу, с которой пароход нельзя было снять никакими силами...

Утром Алексея разбудил голос Юниса Хузеахматова, татарина, толстогубого и смуглого парня.

— У-я-яа-а,—пел он, приоткрыв дверь. — Я думал — пальмы увижу, так долго ехал, а опять снег! Подъем!— кричал он, высовываясь из вагона по пояс и тряся головой, словно умываясь в быстром течении воздуха.— Подъем!

На крупчатом снегу лежало по-зимнему желтое солнце.

— Хватит орать-то! Петух!— раздраженно прикрикнули на Хузеахматова с верхних нар, и Алексей узнал Степана Гуслякова, широкозадого и вечно чем-то недовольного милиционера из района. Нары под ним сердито скрипели.

Юнис удивленно обернулся. И хотел было что-то еще сказать, но так как никто не обратил внимания ни на его радость, ни на недовольство Гуслякова, обиженно и недоуменно смолк. Он повис на вывернутых руках, будто пытаясь вырваться из душного объятия вагона и присоединиться к простору, над которым проносился.

В вагоне уже все шевелились. Многие встали, сворачивали шинели, рылись в мешках; уже хрустели на зубах сухари, синий

дым махорки забесновался, попав в острую струю воздуха у двери; лейтенант трогал розовый, худой подбородок, раздумывая, стоит ли бриться.

Юниса у двери сменил Никита Перевощиков, командир третьего отделения. Он помочился на снег, поворочал головой, глянув вперед и назад по ходу поезда, повисел на вывернутых руках, сплюнул и рявкнул вдруг, будто вспомнив свои обязанности:

— Третье отделение короткими перебежками — к двери! Мочись, да не забывай о морозе. У кого отпадет, тому два наряда вне очереди!— И обернулся, чтобы посмотреть, кто посмеется.

В углу захихикали; смеялся Валерьян Панькин, человечек, глаза, носик, рот и подбородочек которого словно были собраны в небольшую горсть, а щеки были большие, тяжелые, неподвижные. Каждый раз, когда кто-то возле Панькина взмахивал рукой, он отшатывался и пугливо моргал. Видимо, в детстве его частенько поколачивали, и он до сих пор боялся удара. Перевощиков Панькина за солдата и личность не признавал, однако подпускал к себе чаще других: Панькин умел поддакнуть, подольститься, и, если его назначали в тройке старшим, преображался и о непослушании немедленно докладывал сержанту. Панькин хихикнул, но Перевощиков оборвал его:

— Уж тебе-то, Панькин, нечего беспокоиться, тебя-то, в твоем настоящем виде хоть сейчас в женский день в баню пускай! Не распознают!

Тут уж засмеялся весь вагон, и Перевощиков довольно улыбнулся, разыскав прищуренными глазами Панькина. Панькин тоже смеялся, но глаза его испуганно помаргивали, потому что в этот момент кто-то непременно должен был хлопнуть его по спине.

Запахло жареным мясом, горохом — на печурке, снова громко затрещавшей, грели консервы. Алексей вспомнил ночной разговор и позвал к своей банке Николая.

В вагоне начали завтракать. Дверь прикрыли, оставив для света щель. Установилось то деловое молчание, какое бывает у насыщающихся перед трудовым днем людей; лишь короткие реплики прерывали завтрак, а время от времени не произносилось ни слова.

Панькину хотелось как-то восстановить попранное Перевощиковым достоинство — главное, мимоходом задел, ему-то что, а Панькин переживай, — и он снова подал голос:

— А что, мужики, вот мы едем сейчас, и завтракаем, и курим (сам Панькин не курил, а дым терпел только), а навстречу нам — да послушайте же! — вот точно так — немцы едут! И завтракают

они, и курят,— Панькин обводил вагон круглеющими от удивления глазами.— И оружие у них, как у нас, в пирамиде, и смеются они... Вот и едем мы, и они, и мы, значит, а у каждого,— тут Панькин вовсе вытаращился,—а у каждого куля (Панькин говорил почему-то «куля») друг для дружки припасена! А?

— Эх!—воскликнул вдруг Панькин в примолкшем вагоне.— Не то говорю! Вот что: как же это мы не боимся? Ведь на смерть едем!.. Ну, то есть, мы-то понятно,— быстро поправился он,— мы защищать едем, свое, нам иначе нельзя. А вот они?! Не мы — они! Ведь все равно убьют многих... Вот я убью,— отважился сказать Панькин,— вот товарищ сержант убьют...— В том, что будет убивать сержант, Панькин не сомневался, когда же он говорил про себя, голос его дрогнул, словно он пытался неумело солгать. — А ведь едут, все равно едут!.. Вот на что мне ответьте: как им-то не страшно? Как они-то решились?— Панькин оторопело заморгал, так и этак проверяя высказанную наконец-то мысль.

На вопрос Панькина долго никто не отвечал, словно он и не спрашивал. Правда, лейтенант уже несколько раз порывался начать, открывал рот, но все, видать, не находил точных слов.

Перевощиков вытер ложку хлебом, хлеб отправил в рот, а ложку — в сапог.

— Ты вот что хотел сказать, Панькин.— Этой фразой Перевощиков внушительно озаглавил свой ответ.— Что немцы вроде такие, как мы. Я, Панькин, это уже слыхивал. Может, другие не слыхали, а я — знаю уже это. И едят, мол, они, и курят, и смеются — значит, ничем от нас не отличаются. Только вот за что-то кулю Панькину предназначили, и это тебе досадно и неприятно. И ты, б, конечно, сказал им: разве можно? Поглядите, как я, Панькин, ем — в точности, как вы. Даже закурю, чтоб, значит, как все. Даже спою... За что ж меня кулею? Ты это хотел сказать, Панькин! Ну-ка, Панькин?— в голосе Перевощикова послышалась угроза.

— Да нет же, товарищ сержант!—испугался Панькин.— Нет же!— И стал защищаться. Он говорил, что хотел сказать совсем не то, что имел в виду другое... но было понятно, что и именно то, но за этим еще и другое, которое он в смятении и не сумел, и не успел, и побоялся сообщить.

Это другое было — недоумение; а началом недоумения был страх за свою жизнь. И недоумение уже возвышалось над страхом, оно стало мыслью, формулой, а не чувством,—удивлением человека, смотрящего, сумевшего вдруг посмотреть на себя и на других со стороны. Недоумение спрашивало: как это происходит, что человек берет оружие и направляет на себе подобного? Ради чего?

Защита Отечества — это понятно. Но нападать — и рисковать при этом жизнью — это понятно Панькину не было. Ради какой идеи? Ради захвата чужих земель? Но ведь он может погибнуть — на хрена тогда ему чужие земли? Он ведь может умереть!..

Размышляя так, Панькин представлял себе другого Панькина, немца Панькина (у которого куля для русского Панькина), и пытался думать и за него, вселяя в себя странную уверенность, что рассуждения его, мысль, им высказанная, вот-вот и станет всеобщей, и она каким-то образом дойдет до немца, едущего во встречном поезде, и это поможет Панькину уцелеть.

«Ведь нет же у нас ничего, кроме жизни,— с жаром рассуждал про себя Панькин.— И как можно желать еще чего-то — и поэтому умереть?

И без земель, и без особого такого имущества Панькин, оказывается, владел очень многим. В поезде он перечислил все, чем владел дома.

Было у него тряское и нежное, боящееся боли тело. Были жена и дочь, ежемесячная зарплата, огородик не так уж далеко от дома...

Была казенная однокомнатная квартира с необходимой нажитой мебелью: комод, кровать с никелированными набалдашниками, два стола, четыре полумягких стула, шкаф с одеждой, посуда в кухне— все нажитое, нажитое! Вчера перед сном Панькин мысленно перетрогал все свое имущество, каждую вещь: свой костюм, кастрюлю на стене, табуретку, на которой он всегда сидел в кухне, рукомойник в углу. Погладил дверную ручку, рассмотрел древесный узор стертого порога, вдохнул сложный запах сеней — пахнуло медью и керосином примуса, кладовой, где хранилась зимой мука, мед, топленое масло; он мысленно открыл даже погреб оттуда запахло землей и кисло — картошкой...

И было у Панькина детство, о котором он любил втихомолку вспоминать: луга, ягоды, лес, грибы; утренний блеск реки, в день рождения он однажды получил большую пачку шоколада в хрустящей обертке... Что еще?

Первая супружеская ночь, а вскоре и осознание того, что он, Панькин, стал обладателем, хозяином такого большого тела жены. Жена любила спать у него на плече, доверяясь ему, Панькину, дыша ему в ухо...

Рождение дочери, он — отец.

А однажды начальник поставил прилежность Панькина в пример всем —Панькин чуть не задохнулся от прилива чувств, от благодарности. И даже не однажды было так. Панькин понимал, что единственный его талант — прилежание, и признание этого

таланта делало его счастливым.

А вкусные обеды по воскресеньям! И ощущение этого дня, которого он тоже хозяин! Всего дня с его чистым утром, неторопливостью ясного солнца, праздничностью и праздностью лодок на реке, чьей-то гармошкой, песней... День насыщал сознание щедрой полнотой лета, заслуженным покоем, даже ощущением удачи... Созерцание этого покоя, этого дня — тоже было имуществом Панькина, его богатством. Панькину казалось, что этот, случайно запомненный им день был последним перед войной днем.

Но ведь всего этого так достаточно человеку, так должно хватать, что ничего и не надо больше!

Как можно хотеть большего — и потерять это и все, что еще можно почувствовать?!.

— Ты, Панькин,— плесень,— уничтожал его, ораторствуя, Перевощиков.— У тебя кулак слабый, и нет в твоем теле силы. Плесень,— ты на сырости растешь! Я тебя понял, Панькин, понял! Ты где угодно прорастешь, потому что ты — плесень. Я б знаешь что с такими, как ты, делал? — Перевощиков шевельнул сухим мускулистым плечом, обтянув на спине гимнастерку, и Панькин заморгал, заметив, что увесистый кулак сержанта побелел.— Вот то самое и сделал бы, о чем ты сейчас подумал. То самое... И зачем ты живешь, Панькин, не известно мне...

Все смотрели на Панькина.

Перевощиков закурил, и сильные струи махорочного дыма ударялись сейчас в лицо Панькина. Панькин вобрал голову в жесткий воротник шинели, спрятался в нее. Маленький и мягкий его носик, покрасневший то ли от чая, то ли от обиды, выглядел особенно беззащитно.

— ...ты, Панькин, политически незрелый человек,—начал было с другой стороны Перевощиков.— Товарищ лейтенант,— обернулся он,— скажете вы или я по-свойски объясню красноармейцам, что и как?

— Говорите, Перевощиков,—наконец-то подал голос лейтенант.—Мы не должны забывать, что на нашу землю ступил враг. И кем бы ни был оккупант—лавочником, бухгалтером или даже крестьянином, раз в руках у него оружие, раз он солдат,— он должен быть уничтожен...—Сказав так, лейтенант сконфузился, заметив разницу между речью сержанта и официальной своей.

— Да это понятно,— подтвердил его опасения Николай, сидевший впереди лейтенанта.

— Понятно, да, видно, не всем! — отрезал Перевощиков.— Панькину вот непонятно. Он философствовать тут вздумал...—

Сержант хотел, вероятно, вернуться к мысли о дрянной философии Панькина, но почему-то передумал. Вдруг он потянулся и сказал совсем уже другим голосом: — Не люблю я дорогу, братцы! Лень, мысли разные одолевают...— Глаза его поплыли в сторону Панькина и остановились на нем: сержант словно бы примеривался — дать или не дать еще этому никчемному мужичонке Панькину...

— Ладно,— сказал он всем, ожидающим его слова.— Не дрейфь, Панькин! Живы будем — не умрем. Я тебя научу воевать. Ты у меня будешь боец что надо. Я научу, Перевощиков!

От слезы, смочившей глаза, Панькин часто моргал, глядя в одну точку, и те, кто смотрел на него, отворачивались, потому что чувствовали, как его гложет обида, нанесенная Перевощиковым, как он сейчас раздавлен; а Панькина за падение охватывал стыд.

Стыдным казался теперь и его вопрос. Стыдным

и немужским. Перевощиков ответил ему как следует.

Странная вера живет в человеке: что эта его жизнь — еще не все. Веками внушалась человеку вера в бессмертие, и сейчас, когда каждый знает умом, что за гробом нет ничего,— все равно поведение его, поступки, лень, надежда на исправимость своих ошибок, надежда на то, что впереди еще есть время, и даже способность рисковать жизнью свидетельствуют о где-то глубоко запрятанной вере в бессмертие. И один рискует жизнью больше, другой меньше,—и зависит это от количества заложенного в тебе ощущения бессмертия.

Алексей никогда не видел России так много, и только теперь слова напутствия «Вы идете защищать Родину» приобретали тот самый смысл, какой и имел в виду провожающий их командир, который словно бывал уже в этом поезде и смотрел, как он, в окно.

Серый и плотный строй солдат стоял на морозе, дымился дыханием, чуть колыхался — то тут, то там поскрипывал снег; строй слушал речь — отрывистые хриплые слова, слова запоминались, не будучи до конца осознанными. Это были верные и нужные слова, их должно было хватить на дорогу, на бой и на смерть. Слово «умереть» командир заменял словом «погибнуть», и от этого оно теряло часть знакомой безысходности и становилось не таким страшным.

«Вы идете защищать Родину...»

Родина была очень большой.

Высокий ее покой и тишина, белизна полей, сумрачная храмовая торжественность лесов, которую тревожил сейчас шум поезда, успокаивали Алексея, но еще больше успокаивала

величина. Казалось, этой земле не будет конца.

«Вы идете защищать Родину...»

До сих пор родиной Алексея был маленький поселок на берегу реки —небольшой мысок земли, омываемый рекой и затоном, застроенный низенькими домами, теряющийся среди лесов.

Родина, оказалось,—другое. Она была неизмеримое пространство... но странно, он не чувствовал себя маленьким в этом пространстве. Километр за километром оно входило в его глаза, поглощалось им, становилось его сознанием, его плотью — все это гигантское пространство... и Алексей сидел и сидел у окна, боясь пропустить хоть что-то, словно видеть все стало непременной его задачей.

Поезд шел теперь легко, без натуги, он катился, набрав скорость, и если раньше Алексею из-за постоянно попадающейся на глаза разлапой ели иногда казалось, что поезд движется по кругу, то теперь его направление стало ясно. Понятно стало и то, что скоро поезд прибудет на станцию назначения.

На станциях все возбуждались. Надо было успеть сделать необходимое, что-то купить; на остановках встречались поезда с ранеными, с битыми танками и пушками; на стенах вокзалов были плакаты с призывами — все говорило о войне, о близости ее, а особенно — случайные взгляды женщин, оказавшихся на вокзале.

Незнакомые их лица так и оставались незнакомыми и неузнанными, но странно и надолго запоминались: неуловимо родная теплота мелькала в глазах каждой, когда та смотрела на солдата. Женщины, оказавшиеся на вокзале,— то ли работающие здесь, то ли едущие куда-то, провожали взглядом каждого солдата, которого видели, роднясь с их женами и матерями.

В небольшом городке эшелон надолго остановился возле серого склада, во всю длину которого белела надпись КУРИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ. Николай, Пашка и Панькин раздобыли четыре бутылки водки; лейтенант пить отказался, его порцию вместе с полагающейся выпил Перевощиков.

— Ну, братцы,— сказал он,— не первая, не последняя, самая середняя! — Выпил водку, сморщился, понюхал хлеб и закусил луковицей, жарко при этом дохнув на нее. И звучно захрустел, дыша ртом.

Его развезло быстро, вернее, он вдруг разозлился. Сперва, пока пили другие, стучал кулаком по согнутому колену. Потом заскрипел зубами. И наконец взорвался:

— В такую мать! —и ткнул пальцем в мирно и вкусно жевавшего хлебушек Панькина.—Ты о чем тут втихаря думаешь?

Рассуждаешь: едут, мол, навстречу, такие же, как мы... Едут! Не далеко заедут! Я их кокну, я — Перевощиков! И ты стрелять будешь! А не будешь... И вон тот еще,—сержант зло показал на Алексея,— молчит...— Все посмотрели на Алексея, кинул взгляд исподтишка и Панькин— Хоронишь себя?— крикнул Перевощиков,— Плачешь, может, втихомолку? Прощаться вздумал? О чем думаешь —ты скажи нам! Ты, лейтенант, тоже, между прочим, зря молчишь. Тут думать не о чем. Не время думать...

Лейтенант потрогал подбородок и ничего не ответил, только кашлянул. Лейтенант был толькотолько после училища и со старым воякой Перевощиковым схватываться побаивался, чтобы не потерять ненароком авторитет.

— Не нравятся мне здесь некоторые,— сказал Перевощиков раздельно,— ох, не нравятся! Там я вам спуску не дам...— Слова его повисли в вагоне внушительной угрозой, и Панькин снова вобрал голову в плечи.

Ему вдруг стало казаться, что жизнь его будет зависеть не столько от военной обстановки, сколько от Перевощикова. Поежился и лейтенант, не нюхавший еще военного пороха; он подумал, что сержант, переживший ранение, не даст спуску и ему и что все его лейтенантские знания ничто по сравнению с тем, что знает о войне сержант. Он пожалел даже, что не сблизился вовремя с Перевощиковым, но, вспомнив его неостанавливающийся взгляд из-под бровей, подчеркнуто уставное и чуть снисходительное обращение, решил, что докажет свою самостоятельность и годность командовать в первом же бою; понадеялся даже заслужить одобрение сержанта и стал представлять, как это будет происходить...

— Ну хватит, Перевощиков,—неожиданно для себя сказал лейтенант.— Голове не думать не прикажешь, на то она и голова. Бойцы знают, куда они едут,—сказал он, сознательно говоря «бойцы», а не опрометчивое «мы» и хваля себя за это.—И Панькина вы больше не трогайте.—Он тут же подумал про себя, что Панькин скорее всего погибнет раньше других, и незачем его тиранить дорогой. А объяснил это так:— Когда придет время, Панькин выполнит свой долг не хуже других...— И опять подумал, что долг Панькина —лежать в снегу, подняться по команде в атаку и бежать вперед. Весь его долг будет в этом: предстать перед врагом одним из сотни темных силуэтов. Но если не будет этого силуэта, в цепи атакующих или защищающихся появится просвет... Долг,— может быть, быть убитым вместо кого-то, кто поэтому сделает больше шагов вперед, чем он,— и тоже, возможно, будет убит — вместо того, кто убьет врага. Да, это и

называется — долг.

— Вот так,—сказал лейтенант, подтверждая свою мысль и последние свои слова о том, что Панькин выполнит свой долг не хуже других.— Вот так!

Перевощиков почувствовал приказ и замолчал. Он закурил, подойдя к двери, потом спрыгнул и надолго исчез.

Панькин, отрезанный отповедью Перевощикова от всех, долго еще сидел молча (за ним следили краем глаза); каждое его движение было неловко и казалось ненадобным,— и он старался сидеть без движения, чтобы на него не смотрели.

Потом он встал и, опять чувствуя неловкость и нарочитость каждого своего движения, пошел к окну, где на нарах лежал Колчин. Панькин долго смотрел в окно, наверняка не видя, что за ним; лицо его было застывшим, обиженным, носик торчал остренько, а щеки обреченно обвисли.

Вечерело быстро. Серое небо к вечеру чуть засинело, внизу даже зарозовело, но все равно темнело; оттого, что нигде не зажигались огни, рождалось ощущение какой-то безысходности: спать не хотелось, а ночь наваливалась всей грудью, даже дышать становилось трудно, и хотелось чем-то задержать наступление ночи, чем-то противостоять ей.

Прошло полчаса, наверное, прежде чем Панькин произнес первое слово:

— А у нас,— он откашлялся,— у нас самовар, наверно, вскипел...—Он помолчал, не зная, будут ли ему отвечать.— Слышь, Колчин?

— У нас тоже,— ответил Алексей. Панькин ожил.

В вагоне потихоньку завязывался вечерний приглушенный разговор. Панькин снова откашлялся.

— А Верке моей чай все горяч, так она, слышь, Колчин, на снег его выносит студить. Поставит чашку в снег —и опять домой. Выбежит — проверит: не остыл ли...

— Да,— сказал Колчин, поневоле думая и о своих вечером.

Панькин заворочался, устраиваясь локтями поудобнее.

— Слышь, Колчин,— начал он негромко.— А ведь я что тогда хотел сказать... Я ведь другое хотел сказать..: Знаешь, сразу-то может и не получиться...

— А,— и тут отозвался Алексей.

— Ну вот,— вздохнул Панькин.— Слушай ты хоть... Я хотел сказать — на самом-то деле,— что у немца, как ни мерь,— страха должно быть больше, чем у нас. Я это хотел сказать, да сразу-то не вышло. А Перевощиков меня и... Я потом уже понял, что это хотел сказать, а не то,— понимаешь? А он... Да все равно он, хоть ему это и скажи...— Панькин махнул рукой.— Больше у него

страха должно быть,— сказал еще раз Панькин, и — доращивая мысль:—Только немца до страха-то надо еще довести. А он не хотел слушать и... Ты-то что об этом думаешь?

Панькин. философом не был и выше думать не мог,— но, может, и не было мысли выше.

— Ты-то что об этом думаешь? — спросил еще раз Панькин.

— Я? — отозвался Колчин.— Я —думаю.

— Обидно же,— сказал Панькин.— Сразу не сможешь сказать, а тебя уже по башке... Ведь мыто— кому это не понятно! — за свою землю. А они... они по чужой земле идут! — чуть громче, почти выкрикнул Панькин.— А я,— добавил почемуто шепотом,— если и лягу, так в свою — свою землю, понял, Колчин? — и стукнул кулаком по нарам.

Под окном захрустел снег.

— Ну ладно,— Панькин оглянулся на дверь.— Я пойду, Колчин...

Он не отошел, а отшатнулся даже, потому что дверь поехала, открываясь.

— Товарищ лейтенант! — послышался голос Перевощикова. — Командир роты!

Лейтенант спрыгнул, доложил. В этом вагоне все было в порядке: все на месте, никто не болен.

— Завтра утром прибываем,— сказал многозначительно командир роты.— Так что...

— Понятно, товарищ капитан,— сказал лейтенант.

Поезд тронулся ночью, когда все уже спали.

Какой же ты, немец, какой?

Какая идея двигает твои ноги, какую пружину завели и вложили в тебя — и ты идешь, как заведенный, как слепой — как механизм, идешь и идешь, послушный какому слову? А твой страх, немец? Что могло пересилить твой страх? Какая идея? А может, не пересилила, и ты несешь его в себе, свой страх?

Ну-ка, где он, твой страх, немец? Где ты прячешь его? Сколько у тебя страха?

Завтра они об этом узнают, а завтра уже скоро— поезд летит, летит навстречу завтрашнему дню, набирает скорость, летит, оторвавшись от всего, что его сдерживало, летит навстречу станции назначения.

Завтра они всё узнают, завтра, когда рассветёт.

Когда рассветёт.

# Встреча

Не был я на своей родине ровно двадцать три года, и помнил ее то очень зеленой, то белой, снежной.

Родина снилась мне, и — странно—уже городом с многоэтажными каменными домами, рекламными огнями, уходящими по улице вверх, асфальтом... А оставалась-то она все тем же низеньким деревянным поселком, горсткой домов на краю леса— такой я увидел ее из окна самолета АН-2, пролетавшего мимо,—и сердце сжалось, и я удивился.

Две мои тетки, овдовевшие в войну, широко принимали дорогого гостя. Сообща они купили поллитра «Московской», стол уставили пирогами, испеченными за короткую светлую ночь: с луком, : с творогом, с грибами, ватрушками с картошкой. Сварили уху из консервированной, в томате, щуки.

— А репа,— вдруг вспомнил я,— репа есть?

— Не время еще репе-то,— ответили хозяйки,— К осени репа будет. Забыл уже?

Бревенчатый домик теток разделен на две половины. Стены комнат обиты клеенкой, ее аккуратно, через полметра, прижимают лакированные реечки, как на пароходах, где давным-давно служили их мужья. Увеличенные фотографии мужей подретушированы, видно, одним и тем же фотографом так, что они неотличимо похожи друг на друга: толстые брови, рисованные рты, одинаковые носы.

Самовар.

Чай тетки пили из блюдечка, мелко обкусывая кусочек сахара. Боже мой!.. Я любовался ими.

Разговор, несмотря на столь долгую разлуку, шел, к моему удивлению, вежливый, чинноватый: особого любопытства женщины не выказывали, не ахали притворно, вздергивая брови, — но слушали внимательно, кивали, все понимая; о себе же говорили в очередь и понемногу. Жаловаться было, очевидно, не в их обычае, и о прошлом тетки сказали одну только, общую для них, фразу: «Все было, все пережили». Каково им приходилось, одиноким с 1941 года, я представил.

Только раз было произнесено милое слово «родинушка», определившее степень близости, да и то той теткой, которая дружила с моей матерью. Меня, признаться, поразила их сдержанность, но, как я узнал потом, принадлежность теток к местной интеллигенции — учителя,— и некоторая, местная же, родовитость фамилии, честь которой ими же самими тщательно блюлась, наложили отпечаток на их гостеприимство.

Сдержанность была, по-моему, еще и защитная: не знали тетки, насколько можно раскрыть объятия, бог ведает, как поведет себя дорогой гость...

Сдержанность, суховатость, чинность — и я вспомнил теперешнего моего приятеля, долгое время жившего на Северном Урале и принимаемого там, в маленьком городишке, в так называемых лучших домах, где несколько лет назад модно еще было музицировать вечерами на пианино, плохо, ученически играя... Приглашенные должны были выслушать сеанс музицирования и поаплодировать исполнителю. Манеры уральца долго еще были удручающе изысканны, воротничок белоснежен и тверд, а подбородок находился на той высоте, которая не допускала южной фамильярности. Скоро все же он отошел (отогрелся, что ли?) и стал свойским парнем, которого не боязно и по плечу хлопнуть, зная, что если он и поморщится, то незаметно. Я думаю, он даже выиграл от этого, тем более, что новые друзья все же остерегаются хлопать его по плечу, а если и делают это, то для того лишь, чтобы сбросить с него остатки северного ледка.

Тетки отчаянно окали. Я, разумеется, стал слегка подтрунивать над ними, но они, бывшие учительницы русского языка, отбили нетактичную, может быть, мою атаку, всерьез объяснив мне (и я вспомнил, что и сам думал так когда-то), что на Вятке — самый правильный выговор: как, мол, пишется, так и говорится. Я намеренно заакал «памасковски» и заметил скоро, что одна из женщин, незаметно для себя, кое-где стала произносить «а» вместо круглого «о» — и усмехнулся, не сообщив о своем открытии...

...И вдруг на поселок упала гроза. Небо мгновенно потемнело, на улице взвились вверх пыль и песок. Вихрь метался по поселку с какой-то устрашающей яростью: никли до самой земли крупно расцветшие кусты сирени; дом скрипел под ударами ветра, наносимыми с разных сторон, звенели оконные стекла.

Потом сыпанул крупный дождь, а за ним по крыше и в окна застучал град.

Я улегся в деревянном чуланчике на топчане; тетка принесла мне подушку. Здесь было чисто, пахло старым крепким деревом, почему-то чуть-чуть ладаном (или это только казалось — потому что должно пахнуть так?) и немного нафталином.

Я лежал, слушал грозу, удивляясь ее неистовству, боясь за крышу.

Гроза носилась по поселку, как одуревшая ведьма на помеле: вот опять ширкнула по крыше, вот опять налетела... Чего ей надо?

Гроза унялась так же неожиданно, как налетела. Утих вдруг

шум и сразу посветлело. Я вышел на крыльцо.

На крашенных охряной масляной краской ступенях таяли крупные градины. Свежо и резко пахло разворошенными кустами смородины и мокрой сиренью. В неглубоких лужах плавали и лопались радужные пузыри. Лужи уходили в песок.

По небу неслись клочья облаков. Они скрывались за правым берегом Вятки, который был еще занавешен водяной пылью.

Впервые, может быть, за последние сутки я вздохнул свободно и глубоко, а до этого, особенно во время грозы, сжимало сердце, дышалось с трудом.

Я стою на том месте, где двадцать шесть лет назад мы зарыли железные болты, похожие на гранаты.

У памятника погибшим, убитым кто где, бьется на ветру молоденькая березка. На гранитной доске с именами погибших, зарытой в землю у памятника вместо мертвых, имя моего отца.

Над рекой и над поселком стоит высокая темнозеленая стена правого берега. Мне кажется теперь, что она закрывает собой тот, другой мир, откуда я сейчас приехал. Опять ветрено, идут низкие облака. Серо, холодно. Июнь. А там, откуда я приехал, высокое небо, и солнце там хозяин, а не гость.

По узкому деревянному тротуару идет, повернувшись боком к ветру, девчонка в резиновых сапожках. На меня она смотрит обыкновенно, а я удивляюсь: столько во мне восторга встречи, столько необыкновенности ощущаю я в том, что снова вижу эту землю... эту землю.

Поселок словно съежился. Все расстояния, которые раньше были ужасно длинными, на самом деле короче куриного шага. Но ведь я прекрасно помню, как однажды пустил из лука стрелу, она скрылась из глаз, летела долго-долго — я думаю, не меньше пятидесяти метров одолела стрела — и вонзилась в пенек; я не нашел пенька, но место, где он находился, определил — оно было в двенадцати-пятнадцати шагах от линии огня. В пятнадцати! То же случилось с остальными дистанциями.

Весь громадный мир детства умещался, оказывается, на ладони!

Завернув за угол какого-то незнакомого мне — уже каменного! — дома, я увидел пожарище — черный угольный остов невысокого строения среди зеленых деревьев. С трудом догадался, что это клуб. Даже не догадался, а как-то вдруг понял, узнал по признакам, которые словом и не обозначишь.

...Тогда на стене фойе висела картина, которую я немедленно находил глазами, чуть войдя в клуб. Вероятно, это была копия с «Оттепели» Федора Васильева, а может, и самостоятельная работа местного живописца. В «Оттепели», если помните, двое идут по

залитой талой водой дороге, а вокруг еще снег и туман и та промозглая сырость, какая бывает в России по весне.

Меня всякий раз поражала странная застылость двух человеческих фигур в картине; в застылости этой, неподвижности их, я бы сказал, остановленности, было что-то завораживающее, манящее взгляд. Я смотрел на картину, то ли не соглашаясь с неподвижностью людей на дороге, то ли дивясь ей,— не знаю уж, отчего она притягивала к себе и запомнилась.

Клуб, сказали мне, сгорел два месяца назад: мальчишки баловались и подожгли... Я зашел посмотреть.

Пожар сжег дерево до угля; потом огонь потушили. Клуб уже, конечно, спасать было нечего, тушили, чтобы не занялся от искр поселок.

Помните, какой звук издает древесный уголек, когда на него наступишь ногой? Этакий хруст-шипение. Оно-то и сопровождало меня, вызывая и чувство оскомины, и мурашки на коже, когда я ходил по выгоревшему клубу.

В фойе я глянул на то место стены, где раньше висела картина. Поискал внизу. Нашел кусок обгорелой рамы. Может, то и была она? Та самая? А может, другая? Что-нибудь современное? Едва ли.

Сквозь черное яркими полосками светило небо. Снова заскрипел-зашипел под ногами уголь —я вышел.

Иду в лес. Он опять, оказывается, совсем рядом. Июнь — а здесь ландыши. Бронзовые до звона стволы сосен. Мягкий, пружинящий слой рыжей хвои. Желтеет бок песчаной ямы. Скрипучая песчаная дорога уводит в глубь леса.

Над головой с шуршанием закружились крупные сухие комары. Они изголодались за зиму и не боятся ни руки, ни табачного дыма.

Бегу от комаров: шею саднит. Лес — мой лес!— прогнал меня. Я — чужеземец.

Хожу по родному поселку туристом. Глазею, щелкаю фотоаппаратом. Снимаю то диковинный, с моей точки зрения, колодец, то бело и крупно расцветший куст калины у резного наличника. Из продуктовой лавки вышел дед: на нем длинный, как армяк, рваный ватник и старая шляпа с опущенными полями; широкая серебряная борода и строгое, полное достоинства лицо. Котомка за спиной. Я нацелился на деда фотоаппаратом. Дед— и без того прям — а еще выпрямился, подождал на крыльце, пока я щелкну. С достоинством поблагодарил:

— Спасибо.

На следующий день я уезжал: надо было, я был командирован в другое место. Сверстников так и не повидал. Да и повидав, что

испытал бы? Короткую радость встречи, которая сменилась бы общими «да-а...», «вот так вот...», «такие, значит, дела...», рассказами о тех, кого я позабыл или не знал совсем. Да и выросли мы из тех, кем были, во взрослых и, наверно, не очень интересных людей. А главное — ушли от детства далеко и в разные стороны. Так я думал и не пожалел, что не встретил сверстников.

Тетки провожали меня. Катерок, который зовут здесь «галошей», перетащил паром на другой берег. Я в последний раз глянул на чуть поднимавшийся над рекой поселок. И скоро перевалил через темно-зеленую стену берега по длинной, огибавшей ее дороге. Она вывела меня на плоские вятские просторы, бесконечные, с одиноко стоящими черными елями, с темными полосками дальних лесов, с раскидистыми березами по сторонам грунтового шоссе, с бревенчатыми деревнями, где окна многих домов заколочены досками крест-накрест.

Грустная вышла встреча, думал я, и как похожа она на прощание!..

В тот же вечер из окна автобуса я увидел, как хороши на Вятке закаты. Незабываемое это зрелище: переливающиеся из облака в облако краски редчайших тонов и оттенков. Просветы между облаками то нежно-зелены, то сини, то голубы... Сами облака, края их, и золоты, и кроваво-красны, и багровы, и соломенно-желты, огнисты... Невысокое многооблачное небо расцвечено уходящим солнцем так, что начинает напоминать златокрыший большой город, видный издалека, и кажется, что ты на пути к нему. Может быть, я заметил это впервые, может быть, знал и раньше, но, не повидав больших городов, не мог сравнить с ними вятский закат.

А год спустя я нашел у Евгения Баратынского строчки:

> Дивный град порой сольется
> Из летучих облаков...

Если ж подует ровный ветер — поплывут над нивами, над зеленой и плоской этой землей облака, и станут скоро похожими на бесконечно большую флотилию; темны днища судов, а сами они снежно-парусны; бегут куда-то, ветер посвистывает в снастях, — бегут суда, не останавливаясь здесь, быть может, потому только, что не за что зацепиться кораблям, негде бросить якорь, ничто, кроме нескольких на всю громадную ширь ободранных церковок, выставивших вверх покрывившиеся, как на могилах, кресты, ничто больше не удержит якоря...

Я уезжал все дальше и дальше от поселка, понимая все

больше и больше, что прощаюсь со своей родиной, может быть, навсегда; она сделала свое дело: как могла, выкормила меня, наградила неиссякаемой любовью к зеленому и синему, к простору, к облакам, бегущим за горизонт, а потом отпустила восвояси, не требуя ничего, кроме нескольких слов благодарности, которые я и шептал, глядя из окон автобуса на пробегающие мимо низкорослые поля ржи и одинокие березы на краю ухабистой дороги.

# ДРУЖИЩЕ ЛИАНА

...Не зная, во что еще обратится нечаянная радость, я пошел вниз, трогая цветы, которые были мне по пояс, лаская их рукой; вдруг мне захотелось побыть у родника — я завернул в лес. Родник, ямка, вымытая водой, бьющей снизу крохотным песчаным фонтанчиком, был пронизан солнечным подвижным лучом толщиной в палец. Я сел у родника и стал смотреть на воду. По поверхности ее магическими кругами ходил небольшой желтый лист, даже не желтый, а светло-зеленый, опавший раньше

времени. Это была ворожба, холодное кипение воды, лесное колдовство, приготовление зелья.

*Я встал на колени, наклонился к воде, увидел свое лицо...*

«...А вторая половина жизни—это просто-напросто выплачивание долгов, которых ты понаделал в юности, когда многое, многое давалось тебе задаром. Радость приходила сама, смех был нормой существования, в будущее верилось, как в завтрашний день, а влюблялись мы прекрасно, как в сказке, либо как в балете, не ведая пи греха, ни, понятно, ответственности.

Выплачивание долгов — и ничего больше тебе не светит, и все уже было, и получше, чем может быть; а чего не было, так то уже и неинтересно...»

Так думал Ваганов в поздний ноябрьский вечер серого и сухого дня, дня металлически тусклого и холодного, без причины раздраженный, наделавший глупостей, близкий от этого к настоящему отчаянию.

Домашних он разогнал; хорошо зная его настроения, никто в комнату, где, включая и выключая настольную лампу, сидел угрюмый Ваганов, не входил; голоса слышались то из кухни, то из гостиной: семья жила без него, наверное, даже не нуждалась в нем.

...Но может, хоть что-то было в этот день?

Да ничего, ровным счетом ничего!

Ничего не было, ничего не случилось, в том-то и дело, что ничего, ничегошеньки!

И не должно было случиться!

«Мы прилагаем столько усилий, чтобы о нами ничего не случилось,—снова сокрушался Ваганов,—столько всяких мер, предосторожностей, даже учреждений воздвигнуто для этого,—а потом жалуемся, что нам скучно. Нам хочется, чтобы что-то случилось...»

Ну так вот: ничего не случилось ни в эту неделю, ни в этот месяц, ни, кажется, в этот год — и не могло случиться.

Он ходил на службу; вставал в семь, совершал десяток-другой привычных автоматических движений; выходил из дома: стандартный сорокапятилетний мужчина в костюме и галстуке, седоватый, с непроницаемым, как у всех в его возрасте, лицом.

Стоял на автобусной остановке, видел знакомых по каждому утру людей, перевернутую, как всегда, мусорную урну, объявления на столбе: «Продается...», «Меняю...», «Требуется...», «Ищу...» На большинстве объявлений было написано «Срочно!»

Ветер гнал по асфальту сухие желтые листья, катил окурки сигарет.

Подходил автобус, люди отворачивались от пыли, которую он принес с собой, двери автобуса отворялись...

Ваганов отъезжал от дня, день оставался здесь, у его дома, в его пустой квартире. Он обгонял на автобусе неторопливое его течение, похожее, наверное, на течение широкой реки, на рост травы, на движение часовой стрелки. Потом он вообще забывал о нем в спешке и суете дел. Вечер приходил неожиданно. Окно темнело, и Ваганов понимал, что еще один день прошел. И день казался Ваганову потерянным, он не воспользовался днем как надо, ничего не извлек из него.

Дни проходили мимо, он к этому привык и будущие дни будут идти мимо, вернее, он будет проноситься мимо дней, как мимо островов, спеша куда-то— куда?, летя куда-то — куда?, прилипая взглядом к остающемуся позади, за окном автобуса, так и неузнанному или обезличенному им дню...

Он выплачивает долги! Долги, которых понаделал в молодости, когда все давалось задаром, когда так легко было быть счастливым.

Счастливым... Тогда, например, у Ваганова были друзья. Как это много,— неожиданно открывает он,— иметь друзей! Не приятелей, не собутыльников— эти ищут давным-давно потерянную дружбу и утраченную способность дружить и находят ее суррогат только во хмелю, когда сняты с души замочки и цепочки, даже те, что не нужно было снимать... а просыпаются еще более замкнутыми, чем прежде, с червем раскаяния, грызущим за вчерашние откровения.

Уже давно Ваганову чего-то не хватает —он раздражен, что-то все варит, варит в себе — ядовитое; жена говорит, что у него «тоскливо-злобное настроение». Ну, это термин ее профессии, она психиатр. Но она не копнет глубже, не заглянет за табличку, которую навесила, чтобы найти причину тоскливо-злобного... Ваганов недавно понял, чего ему в последнее время не хватает, как организму может недоставать кислорода, или витаминов...— ему недостает — чтобы дышалось ровнее, чтобы дыхалось! — друга!

Хорошо дружится в детстве, прекрасно — в юности! Друг — не попутчик; друг... это второй ты — как еще можно назвать друга?

Счастлив тот, кто сохранил старого друга на всю жизнь.

Жена его не заменит. Может быть, это и бывает иногда, но редко. Жене и не все скажешь, не во всем сознаешься, да и не так поймет она, как поймет друг, а ведь есть вещи в душе, предназначенные только другу.

В каждый отпуск Ваганов едет в те города, где жил раньше.

Почему ему нужны эти города, зачем его так тянет туда? Он бессознательно ищет то, что оставил или потерял там,— старых друзей!

В дружбе у человека такая же потребность, как в любви.

Счастлив тот, повторяет Ваганов, кто сохранил старого друга на всю жизнь!

Друг, исповедник — это, наверное, одно из условий человеческого существования...

С возрастом что-то происходит со всеми нами — мы уходим в семью и работу и теряем друзей, уходим, не простив каких-то ошибок, в разные стороны и мучаемся от одиночества, и жена не спасает от него. Да, это, наверное, возрастное - как отложение солей или жирок на животе...

Ваганов вспоминает своих друзей. Правильно: дружба в юности походила на любовь — они с Шуркой и дня не могли провести врозь.

Когда Ваганов попал в армию, в письмах к Шурке было отчаяние разлуки. Зато встретившись после четырех лет, они разошлись в один день, почувствовав, что каждый стал другим человеком.

Следующая дружба, начавшаяся в армии, была сдержаннее внешне, но, понимает сейчас Ваганов, прочнее. Мужская дружба. Они тоже оказались в конце концов в разных городах.

А в еще одну дружбу вклинилась женщина...

Последний же друг и предал, и «продал» Ваганова: Он был болезненно подозрителен — маленького роста, некрасивый и недобрый, в детстве, видимо, часто всеми битый, а потом так часто предаваемый и продаваемый, до воя поволчьи одинокий, закомплексованный с ног до головы,— заподозрив Ваганова в измене, в предательстве, по-волчьи же поспешил с ним разделаться — первым...

После этого Ваганов уже ни с кем не дружил. Никого близко к себе не подпускал, ни к кому всерьез не тянулся. Даже не так: он и потянулся бы или открылся, но очень уж многие в его возрасте сдержанны, закрыты, прочно замкнуты на замочки; как в сейфах, держат, может быть, недорогое, да свое, тщательно отобранное, бережно охраняемое, ни чужой критике, ни собственному пересмотру не подвергаемое. Как осторожны в его возрасте мужчины, с каким недоверием, с какой неохотой, без веры, приоткрывают то свое что до донышка известно и понятно старому другу и что не боясь распахивают перед ним!...

Автобус останавливается — Ваганов чувствует короткое беспокойство: пропало движение, к которому он уже привык. Зато пошла, заторопилась, полетела вслед за автобусом мысль.

...Нет-нет — все, что могло быть хорошего, было в молодости! Дружба, любовь, мечты, надежды — весь этот юношеский набор счастья... Что ему осталось от всего? — Работа. Что он сейчас? Просто машина. Заведенная машина. Точнее, ежедневно заводимая — работой, семьей, собственным и жениным честолюбием — машина. Ваганов выплачивает долги. Он дает возможность испытать все «задаром» дочери, которая в свое время тоже будет отрабатывать долги. И так далее. Встречаясь, они, люди одного возраста и примерно одного должностного уровня — ездят в автобусе, — ревниво оглядывают друг друга: как одеты, как выглядят, чем отличаются. Он стал замечать, что все они — прежде всего страшно похожи друг на друга. Как солдаты. Как машины.

От автобусной остановки, где Ваганов выходит, до его службы около полукилометра, десять-пятнадцать минут ходьбы. Дорога идет через парк. Это последние «свободные» его минуты. Он идет не торопясь, смотрит по сторонам, разглядывая клумбы, скамейки, каштаны, кусты снежноягодника и жасмина, причесанную граблями редкую и сухую траву.

Проходя по чистому утреннему парку в эти последние нерабочие пятнадцать минут, он особенно внимателен и пристален — словно надолго прощается с ним.

Он видит лежащий на земле только что выпавший из скорлупы каштан —два зеленых ежика скорлупы валяются рядом.

Каштан так хорош, что похоже, будто кто-то обронил его, и нельзя пройти, чтобы не нагнуться и не подобрать каштан.

Ваганов берет его с собой, а на работе кладет на стол и время от времени смотрит на него, любуясь и вспоминая парк, и вспоминая затем, как ехал в 1945 году с востока на запад. Где-то возле Киева, на какой-то железнодорожной станции, под огромным незнакомым деревом, дети с поезда увидели в траве коричневые, твердые, блестящие плоды. И бросились собирать их, отталкивая друг друга, даже чуть не подрались из-за них... Они казались им (особенно после желудей, которые собирали как добавку к муке) и съедобными, и игрушками, и вообще было странно, что такие прекрасные шоколадные плоды просто так валяются под деревом...

С тех пор, с голодного, раздетого и разутого сорок пятого, и кажется Ваганову каштан кем-то оброненным, находкой, обновкой...

Душа постепенно покидает машину-Ваганова — что ей делать в нем?— и убегает, улетает в прошлое. Лазутчиком, разведчиком пробирается она сквозь чащобу лет и смотрит, смотрит там, в прошлом, на все — жадно, неустанно, стараясь увидеть,

рассмотреть то, что было увидено тогда невнимательным, неопытным взглядом. А сам Ваганов сидит, остекленев глазами, уставившись в одну точку, неподвижен, неодушевлен, мертв.

Надо еще сказать, что воображение у Ваганова чрезмерное. Только дай ему волю. Иногда оно помогает, иногда подводит. Недавно, например, он не смог забраться на башенный кран (требовалось по службе). Стал вообще бояться высоты: только глянув с высоты вниз или вверх, куда он должен забраться, он уже видит себя летящим вниз и распластанным на асфальте — к нему сбегаются люди, суетятся вокруг, а из-под него выползает красная змейка крови... А ведь совсем недавно — вчера — он спортсмен, причем вид его спорта — бокс — требовал от него и силы, и мужества, и хорошего внутреннего усилия. А тут — ничего не смог с собой поделать, страх оказался сильнее, он, как могли бы сказать бывалые люди, был неуправляемый...

Ваганов хороший работник и умеет любить свою работу, но он человек настроения: какая-нибудь чепуха, крошка, крупинка, попавшая в поле его внимания,— катализатор, может круто изменить его состояние, заставить принять неожиданное решение.

Таким-то примерно образом Ваганов оказался в Гималаях и пробыл в чужих краях долгое время. Ваганову отказалось подчиниться мыло — вот с чего начался этот памятный день. Оно выскользнуло из рук, а когда Ваганов попытался его поймать, не далось.

— Ты пропало, мыло! Сопротивление бесполезно! —ворчал Ваганов, ловя мечущийся по раковина обмылок и еще больше ожесточаясь. — Ну куда ты денешься, скажи, куда?..

Мыло поймано, зажато в кулаке, осторожно пущено в ход, сопротивляющееся — черт побери! — такому понятному — всем! — порядку, как утренний туалет!

Потом оно, сопровождаемое недобрым и подозрительным взглядом, кладется на место. Но это — подозрительный взгляд и ворчание — уже игра, и которую перешло самое искреннее возмущение поведением мыла.

Раньше вещи были куда уживчивее. Но уже давно контакт с ними разладился. Вещи стали сопротивляться и даже избегать Ваганова. Они только делали вид, что все ладно, на самом деле вещи его сторонились, не хотели с ним связываться.

В доме некоторое время была собака, спаниель Чарли. Но он, как скоро выяснилось, обладал вполне реальным, установившимся характером и имел виды на равноправие и сосуществование на договорных началах. Чарли был самостоятелен и независим, и за эти дурные черты Ваганов его

невзлюбил и скоро сбыл с рук.

Ваганов завел дружбу с цветами.

На шкафу и на подоконниках поселились две разные лианы, турецкий перец и несколько кактусов. Кактусы, надо заметить, принесла в дом дочь: Ваганов не любил их за колючки, за такой же неуживчивый характер, как у Чарли.

За цветами Ваганов ухаживал, даже поссорился как-то с женой за то, что не полила цветы, пока он был в командировке. Жена к цветам была равнодушна.

Когда Ваганов оставался дома один — такое случалось не часто,—подходил к цветам, думал о них. Стирал с листьев пыль мокрой тряпкой, устраивал им душ, опрыскивал заплесневевшую землю раствором марганцовки, купил удобрение.

(Старел Ваганов, старел!)

На перце завелась тля, его бы выбросить, но Ваганов тлю обирал, сбивал с бутонов щелчком пальца смывал душем. Все это не помогло; Ваганов разыскал (дело было осенью) спрятавшихся под палой листвой божьих коровок, посадил на перец и долго наблюдал, как те работали на его плантации.

Цветы ничем не отвечали на его заботу, кроме хорошего роста, но Ваганов думал, что,—конечно, он читал в «Литературке» статью «Чувствуют ли растения?»—что они знают, когда к ним подходит он, а не жена или теща: та однажды, убирая в комнате, оторвала пол-лианы и, страшась его гнева, сунула оторванный кусок стеблем в землю; Ваганов месяц держал стебель в воде, чтобы он пустил корни.

В тот день, когда мыло отказалось повиноваться Ваганову, стало понятно, что с нервами у него совсем нехорошо — нужно лечиться, и мало ли что еще обнаружится; в ширящийся круг этих мыслей пришла и та неожиданная: растения могут лечить (Ваганов собирал кое-какие лекарственные травы, хоти и не пользовался ими, отдавал обычно знакомым), могут лечить, не будучи разрезанными, раскрошенными, запаренными в кипятке...

К своим сорока пяти годам Ваганов обзавелся пятком разных болезней: жить с ними было можно, но, как и все, он, конечно же, боялся той самой главной болезни, думал о ней, заранее искал выхода.

Мысль об особом способе лечения, родившись, побежала, побежала, коснулась страшного...

...Ваганов заболел. Он выслушал сотни советов, и каждому какое-то время верил. Но вот узнал, что где-то в Гималаях — в одном только месте земного шара — растет широколистая лиана. Обвивающая дерево точной спиралью, она лечит неизлечимую болезнь —но необычным способом Растение не нужно ни срезать,

ни сушить, ни запаривать или, срезав, прикладывать к больному месту. Наоборот, это растение может лечить только оставаясь нетронутым. Оставаясь живым. Нужно поселиться подле него и, если хочешь жить пробыть рядом долгое время, месяц, два — лиана спустится к тебе и вылечит...

Ваганов шел в этот день на работу пешком.

...Он едет в Гималаи, «страну чудес, обитель богов», жилище владыки йоги — Шивы. На южный склон хребта, куда-то под индийский городок Шайон.

Ваганов не знает той местности, не представляет того городка, но ждет, что его там будут слепить солнце и белые стены невысоких домов; он пойдет по небольшой площади и будет видеть смуглолицых людей в белых одеждах и высокую зеленую (как в Батуми) гору невдалеке, а в дымке — прозрачные как дым, исчезающие в небе Гималаи.

Сутки он проживет в душной, раскаленной гостинице, будет бродить по городу, принюхиваясь к незнакомым запахам, заходя в магазины и ничего не покупая, дивясь необычности товаров и вежливости продавцов.

Он подойдет на прогулке к высокому чугунному забору и воротам, за которыми будет чей-то открыточный дворец, и, насмотревшись, побредет дальше, трогая прутья забора...

Ваганов пьет незнакомые вкусные напитки и ест бедные и странные блюда.

Будет некая больница, черноволосатые уверенные руки врача, больно уходящие в его живот, разговорврача с другим на незнакомом языке, запах лекарств, взгляд врача на Ваганова — не на Ваганова-человека, а на Ваганова — существо, носящее в себе болезнь и интересного только этим; приступы, надежды, острые, как счастье...

Потом он сядет в душный и шумный, дурно пахнущий разбитый автобус и — солнце будет палить все так же нещадно — поедет в дальнюю деревеньку, время от времени нащупывая в верхнем кармане рубашки хрустящее сопроводительное письмо.

Деревенька, мягкая теплая пыль, снова белые одежды, высокие деревья и низенькие дома. Храм, возле которого он постоит, видя тусклое свечение бронзового Будды внутри.

Очень говорливый худолицый небритый мужчина, к которому письмо. Это местный фельдшер. Он говорит и говорит без конца, и Ваганов кивает в ответ, не понимая ни слова. Они соберутся в дорогу. Худолицый нагрузит мешком с продуктами своего увальня сына, перекинет через плечо сумку и старенькое ружье, н они пойдут.

Какая-то женщина посмотрит им вслед — Ваганов надолго

запомнит ее взгляд, седую прядь изпод платка, коричневые, полные спокойного сочувствия глаза, сухую кожу рук, запыленные коричневые босые ноги.

Они взберутся на холм со сгоревшей на солнце травой, спустятся с него к мутной узехонькой речке с истоптанными скотом берегами. И пойдут по тропинке вдоль речки к горе, которую Ваганов видел из деревеньки.

Идти они будут долго, увалень сын несколько раз будет спорить с худолицым, требуя отдыха, а Ваганову покажется, что все это зря, что ему ничего не поможет, и он напрасно заставляет возиться с ним этих людей. Худолицый будет кричать на сына, показывая на Ваганова, потом плюнет, взвалит мешок на себя и пойдет впереди. Ваганов немного постоит и пойдет за ним. Потом тронется и сын, догонит отца и сердито стащит с него мешок...

Начнется лес, густой, душный, звенящий комарами и мухами, пугающий шорохами и шелестом кустов. Они пойдут по узкой петляющей тропе куда-то вверх, вверх...

Лиану он увидит издалека. Они выйдут из лесу на поляну, худолицый сбросит мешок, который они с сыном последние километры несли по очереди, и утрет взмокший лоб рукавом. Покажет ему на дерево вверху поляны.

Сердце Ваганова покатится вниз, как у больного, увидевшего операционный стол, на котором ежу собираются делать опасную для жизни операцию.

Это ваш брат,— скажет по-английски худолицый,—ваш отец, ваша сестра... Понимаете?

— Да,—ответит Ваганов, не в силах двинуться с места,— да...

Врач в Шайоне сказал ему: чтобы вылечиться он должен добиться «расположения» лианы Стать ей родным,-тогда лиана спустится к нему, ощупает его тело, «выслушает» широкими листьями и распознает болезнь. Прильнет, прилипнет листам (может быть, надолго, так что запаситесь терпением) и вылечит. Чем? — фитонцидами? соками? токами? — на это пока нет ответа.

Ваганову оставлено ружье, еда, палатка, спальный мешок, посуда, спички. Вода в роднике неподалеку. К сожалению, худолицый занят и не может побыть рядом с мистером Вагановым. Сын тоже занят, он уже большой и помогает отцу. Они скоро навестят его. Они желают ему поскорее выздороветь. До свидания!

Худолицый (Ваганов так и не запомнил его имени) и его сын уходят. Сын, прощаясь, как и отец, пожал Ваганову руку, что-то, как и отец, пожелал на незнакомом языке. Они скрылись в зелени леса. Ушли. Ваганов один. На десяток километров один. Боль

пока дремлет, но скоро вернется.

...Черт-те что! Мысли и чувства Ваганова маятниково качаются от радужных надежд до полного отчаяния. От жизни к смерти. «Собственно,— пробует рассуждать Ваганов,— ведь я пожил уже, все главное позади — что меня еще ждет?» Но эта мысль дальше продолжаться не захотела, и Ваганов заглушил ее, вытеснил — начав ставить палатку.

Палатку он поставил чуть поодаль, чтобы ненароком не повредить корни и дерева, и, не дай бог, лианы.

Проверил ружье, старую двустволку английского, конечно, производства. Патронов к ней пять, н Ваганов вспомнил, что сказал ему худолицый, вручая ружье: «Э тайге, а вулф — пах! пах!»

Продукты: хлеб, консервы, фрукты, чай, сахар, сухари.

Когда все было разобрано и подготовлено, Ваганов подошел к дереву, похожему листьями на тополь, только более длинными. Потрогал его кору, сбросил муравья с лианы. Глянул вверх, где в кроне пряталась ее верхушка. Одна ветка лианы ползла по нижнему суку, обвивая его. Она-то, наверное, и должна — должна? — спуститься к нему...

Поляна была — длинный травяной островок среди леса, пологий справа налево, спускающийся далеко вниз; дерево с лианой стояло в верхней части островка. Метрах в пятнадцати от него, в лесу, чуть позванивал ключик, стекая вниз тоненьким ручейком.

От ручейка Ваганов вернулся к дереву и, чувствуя страшную усталость, буквально сполз по стволу дерева вниз; лег — с одной только мыслью — будь что будет!..

Часа полтора проспал Ваганов, неудобно привалившись головой к стволу, а когда проснулся, ужаснулся тому, что произошло с ним за последнее время. Болезнь, надежды, трудное добывание разрешения на поездку черт-его-знает-куда и чертего-знает-зачем, прощание с женой и дочерью, путешествие, городок Шайон, отошедший уже за эти полтора часа в прошлое, худолицый, его сын, ружье, родник, лиана...

Ваганов поднял голову: за время сна ничего, разумеется, не изменилось — ветка все так же обнимала сук, не думая спускаться к Ваганову.

Ему захотелось закричать — нахлынул детский ужас, страх ребенка, оставшегося в одиночестве в незнакомом, чужом месте, тот самый неуправляемый страх, который он испытал совсем недавно, наполовину забравшись на кран. Ваганову захотелось бежать отсюда—бросив все,— бежать в деревню, а оттуда в Шайон — и домой, домой, к черту лечение, к черту лиану, все это

придумано для дурачков, он умрет здесь скорее, чем дома...

Громадным усилием усмирил Ваганов закипавшее в нем безумие, удержал тело, рвущееся броситься по тропинке вслед за худолицым и его сыном.

Намеренно медленными движениями стал готовить чай. Худолицый снабдил его таганчиком, некой треногой с обручем, под которым разводят огонь, а на обруче стоит чайник. Ваганов установил таган, наломал в кустарнике сухих веток поджег...

Вот и первый его огонек—да где—в Индии! В Гималаях!

Чайник быстро закоптел, с непривычки (а вернее, с отвычки: в войну Ваганов был хорошо знаком с таганам) он кипятил его долго. Когда дым понесло в сторону лианы, испугался - вдруг ей не понравится?

Чай он пил, так же сидя у дерева, из толстой фаянсовой кружки, думая, что вся его затея - страшная чепуха, что он не успеет вовремя выбраться отсюда, чтобы повидать еще жену и дочь.

Забираясь на ночь в спальный мешок, привезенный, очевидно, кем-то до. него (жив ли?) издалека, Ваганов положил рядом ружье и долго не спал, слушая птичьи крики, чье-то ухание, верещание, шорохи ночной жизни леса. Несколько раз просыпался, нащупывал ружье, слушал звуки, изменившиеся за это время, снова засыпал.

Утром, чуть вылезши из палатки, увидел змею. Длинная, тонкая, она кольцом лежала у дерева и подняла голову над землей, когда увидела движение у палатки. Ваганов встал —в траве простроился, прошелестел ручеек, змея исчезла. Ваганов осмотрелся. Все было как вчера. «Может, тоже лечиться приползла?—подумал Ваганов.— Неужели и здесь очередь?»

На завтрак ушло много времени, но Ваганов был этому рад. Других дел не было. Мысли двигались— из-за вернувшейся боли — замедленно, вяло. «А вдруг еще кто-то из зверей лечиться придет?»— запоздало подумал он.

После завтрака сел у лианы, на вчера найденное место, сел покорно, как будто принимал в поликлинике кварц.

Врач в Шайоне говорил с ним по-английски, Ваганов кое-что понял. Лиана — их в этом краю несколько сот — лечит только одного человека за всю свою жизнь. Она, пошутил он, однолюб. Врачи не знают пока, почему лиана спускается к больному человеку,— каждый раз причина другая, какой-либо закономерности они не уловили. Нужно добиться ее расположения, настроиться на ее волну. Но может, лиана настраивается на волну больного человека? Может быть, она слышит крик боли? Возможно, играет роль время, проведенное

вместе — да, это наверняка. Возможно, еще чтото... Вы сами должны это выяснить. Должны быть в какой-то мере исследователем. И даже помочь нам в этом.

Но вполне вероятно,—тут врач развел руками,— совсем, совсем другие причины заставляют лиану спуститься к человеку. Ведь в мире столько еще неизвестного, столько...

Худолицый, вспомнил Ваганов, постоял перед лианой на коленях, что-то долго шептал ей,— может, и ему так? И тут же хмыкнул — ни во что не верящий европеец в роли буддиста! Впрочем, ни во что не верить — это значит верить во все понемножку... Как же мне вести себя с тобой, лиана? Жить хочется!

В этот первый день Ваганов осторожно обкопал растение, полил его, проверил ствол лианы, нет ли каких паразитов, долго смотрел вверх, на теряющуюся в кроне зелень ее листьев. Он даже не узнал, цветет ли она, кто, когда опыляет цветы, не запомнил латыни названия.

Работа у лианы приносила Ваганову надежду. Пусть увидит меня, пусть заметит. Если будет читать мои мысли, поймет, что не злодей. Ваганов считал себя незлым человеком, хотя и был злопамятен: если кого не любил, так уж на всю жизнь. Но вот зла никому никогда не замышлял, живя внутри себя; активен же был, только защищаясь, нанося тогда болезненные, наспех обдуманные удары — и каясь потом, и жалея того, кого больно ударил.

Лиана, конечно, будет «читать» его, ну что ж, пусть читает — он не хуже и не лучше других: человек, «мыслящий тростник», «с ним в родстве деревья и трава»...

Братом, братом, братом... Братом. Ваганов решал задачу, бродя по поляне, работая у лианы, сидя у дерева, уходя ненадолго в лес. Садясь к лиане, он рассказывал ей обо всем, рассказывал, потому что пришла потребность говорить, наполнять голосом пустую храмину поляны. Он рассказывал ей о себе, о жене, и дочери, вспомнил спаниеля Чарли и рассказал о нем. Он пел, сидя у дерева, но потом испугался, что его голос может не понравиться лиане, и перестал. Братом.

Ваганов чувствовал в себе рост опухоли, чужого тела, его тяжеление и агрессию; боль увеличивалась, время от времени сознание на мгновение темнело, его пошатывало.

— Пора,—говорил он в такие минуты лиане,— пора!

Теперь он уже спал под деревом, по-детски надеясь, что откроет утром глаза и увидит спускающуюся к нему плеть лианы. Братом.

Брат Ваганова умер совсем маленьким от дизентерии, которая ходила в те годы эпидемиями, Ваганов не знал, что такое

быть братом.

Может быть, другом?

Ваганов научился вставать вместе с солнцем— свет восхода бил в глаза. Солнце выплывало изза невысокой горы внизу — каждый раз все то же, отрывалось от горы, медленно поднималось, ярчало, становилось обыкновенным. Оно пускалось во все тот же долгий путь по небу, словно там были проложены для него рельсы, и Ваганов уже не обращал на него внимания, разве что приходилось прятаться в тень. Заходило солнце за деревьями за его спиной.

Событий в дне было мало: восход, утро, завтрак, обед, какое-то воспоминание, о котором Ваганов рассказывал лиане, садясь ради этого у дерева, наступление вечера и ужин... Вечер был таким же большим событием, как утро. Как ни было тяжко Ваганову, как ни отравлено было его сознание болезнью, вечер брал свое. Ровное, почти незаметное для глаза течение дня, похожее, как мы уже говорили, на течение широкой реки, убыстрялось, словно река скатывалась со склона.

Небо густело, синело, облака обряжались в пурпуровые одежды; солнце, проделав долгий путь по небу, торжественно встречалось ими: монарх Солнце возвращался домой после трудного похода!

Зрелище...

Вечер действовал еще тем, что был долгожданной переменой после утомительно-одноцветного дня, что река, попадая сначала на склон, лилась потом водопадом—и Ваганов, несясь воображением вместе с ней, падая вниз, вниз, чувствовал даже головокружение и ужас ночного падения, особенно когда взглядывал на стремительно уносящиеся вверх звезды.

Через неделю пребывания на поляне Ваганову стали приходить на ум — это превратилось в наваждение — обрывки прошлых разговоров, строчки из книг и стихи. Так репьем прицепилась глупейшая фраза: «Отрешась от всего земного».

— Кой черт — отрешась! — ругался Ваганов, отмахиваясь от фразы, как от осы. Каждый предмет его обихода, любая травинка, на которую он смотрел, любое движение в природе —шелест листьев наверху, плывущее облако, полет птицы, ползущий муравей —приносили что-то из его прошлой — до Гималаев — жизни.

Он буквально загромоздил поляну —как квартиру, в которую только что вселился,—своими вещами.

Вон там, справа, где начинался перед лесом мелколистный кустарник, поселился субботний лес Ваганова и вое о ним связанное.

В низине, по утрам заливаемой туманом, жило его школьное прошлое.

Слева, в хвойном лесу, куда уходила тропинка, было подмосковное Абрамцево, его день в Абрамцеве, и картина из Одесского художественного музея, не одна только картина, а еще кусок стены, угол другой рамы и дубовые перила. На картине были сосны в вечереющем лесу, их теплые стволы, хвоя, зажженная лучами гаснущего солнца.

Ближе к дереву располагалось все домашнее: книжные полки, стол, балкон и даже его взгляд С балкона на автобусную остановку внизу — автобус только что подошел, в него входят, неуклюже спешит к автобусу старушка из-за угла дома.

Жена и дочь и теща тоже бывали здесь — их вызывал то звук, то они приходили будто бы без зова и без опроса. Жену он мог еще вызвать, глянув на одно место в коре дерева, где в узоре трещин было что-то, что немедленно вызывало ее сюда; так же как взгляд снизу на крону дерева переносил сюда дочь.

Ваганов не знал, как относится лиана к этому вторжению, как терпит такое множество чужих вещей, но ничего не мог с этим поделать.

Все, что он нажил, чему стал владельцем — а владел Ваганов разнородным и разноцветным набором впечатлений и картинок, рядом догадок и нетвердых убеждений, несколькими— немногимиверами и невериями, двумя-тремя ненавистями и Любовями, представлениями,— весь этот пестрый скарб и хлам был перетащен сюда, и он громоздился на поляне, и его все прибывало.

Со строчками стихов, скользнувшими на язык, он маялся иногда целыми днями, бормоча их как заклинания.

Чтобы ничем не быть отвлеченным от главной мысли, Ваганов не взял на этот необитаемый остров книг, и в образовавшейся вокруг него бесстрочной пустоте любая звучала так настойчиво, так подолгу, что Ваганову поневоле приходилось восстанавливать все стихотворение, чтобы избавиться от пытки повторения одной строчки.

Так было с пушкинской строчкой «но дружбы нет со мной». Она прозвучала как если бы кто произнес ее, как вздох, как приговор. Два дня Ваганов был на последнем издыхании, пока не вспомнил, что стихотворение называется «Чаадаеву» (оно было прочитано один или два раза всего), пока не восстановил следующие строки:

...Печальный, вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края...

И еще две, которые, знал он, жизненно ему необходимы:

Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум.

Этими строчками Ваганов привел себя в относительный порядок, они оказались лучшей формулой самовнушения, и то, что не выходили из ума, шло только на пользу.

— Владею днем моим,— уговаривал себя Ваганов, расхаживая по поляне, уходя от лианы и возвращаясь к ней.— С порядком дружен ум...— И произносил главное:—Учусь удерживать вниманье долгих дум...

Пушкин помог! Ваганов смог довольно связно поговорить с лианой. Это выглядело примерно так.

— Давайте разберемся, госпожа Лиана,— предложил Ваганов, до сих пор не нашедший слова обращения,— давайте разберемся в наших отношениях.

То, что растения чувствуют и сочувствуют, доказано Босом, Гунаром, Инюшиным и другими,— перечислял Ваганов известное ему, о чем он читал перед поездкой в Индию.—Мы для вас — некий живой, теплый, подвижный объект, индуцирующий самые различные, часто незнакомые, токи. Эти токи вы, растения, как уже доказано, улавливаете и подвергаете расшифровке. Токи — это наше движение, наши эмоции. Токи — биотоки— это то, что является общим для любой живой клетки, для человека и растения. Некоторые наши эмоции сходны: боль, радость, тревога... Установлено, что вы легко ловите человека на лжи. Значит, ложь трудно дается человеку? Она идет через большое усилие? Очевидно, растения не лгут... Я не знаю, каким знаком оцениваете вы человеческую ложь... Впрочем, сестрица Лиана, я не собираюсь тебе лгать. Зачем? Я весь перед тобой...

Не знаю, увидела ли ты меня, начала ли прислушиваться ко мне, изучать меня. Метерлинк говорил, что ум растения замедлен в веках. Меня это не устраивает. Я хочу, чтобы ты поскорей меня заметила, услышала крик боли, крик моего ужаса перед смертью, которому я не даю воли. Но, может, ты уже все знаешь?

Метерлинк сказал, что растение живет в мире, где не должно поручать себя какому-то сочувствию, никакой милосердной помощи. Это так?

Но известно, что ты лечишь. Значит, тебе дано сочувствие? Ты одна способна на помощь? Или таким способом ты спасаешься от уничтожения травщиками? А, Лиана?

Или, может быть, со времени Метерлинка «сознание» иных растений уже изменилось? И метерлинковский «рассеянный разум, всемирный ток» отложился, сконцентрировался в тебе?

Что мне делать, сестрица Лиана, чтобы ты помогла?

Мне кажется, что только ухаживая за тобой, я делаю не все...

У меня мало времени, Лиана, очень, мало, а мне, как и тебе, очень хочется жить...

На девятый день, лежа у дерева и глядя на неторопливый караван облаков, несших на спинах какой-то его синий июльский день,— у Ваганова была передышка и он гадал, какой именно это день,—случайным взглядом он заметил чью-то фигуру, выходящую из леса и направляющуюся к нему. Ваганов сел и чертыхнулся:— Кадет Биглер! Костыль! И здесь нашел! И здесь!

Это был Дьячков, целая местность, административный район в сознании Ваганова. Дьячков, человек без подбородка. Первого, основного подбородка у него не было, зато именуемый вторым напоминал подушку, в ней утопало лицо. Молодой и узкоплечий, высокий и раздобревший, он и ходил как-то бочком, кренясь и расставляя руки, словно боялся упасть. Однако Дьячков принял меры, чтобы крепче стоять на ногах!

В воображении Ваганова Дьячков рисовался рыбой, причем рыбой, смотрящей только вверх. Низ Дьячкова не интересовал; плавательный его пузырь был надут в расчете на верхний слой. Низ ему нужен постольку, поскольку вниз через него передавалось то, что задумали вверху. Он же служил—пока—проводником. Зато уж приказ проходил сквозь него быстро и, главное, безо всяких изменений, словно его спускали по трубе.

Дьячков был начальником, и можно здесь предположить, что Ваганов, и сам могущий стать начальником, за это его и невзлюбил. Нет!

Для начальника Ваганов был слишком независим и самолюбив. Давно зная за собой эти дурные качества, Ваганов о пути наверх, где грозы погуще и молнии похлеще, не заявлял, и мысли сделать его начальником ни у кого не возникало; возьмись Фрейд доказать Ваганову наличие некоего комплекса от гложущей неудовлетворенности или зависти, он бы и тут с ним жестоко поспорил.

Честолюбивые устремления Ваганов научился трансформировать, делая работу на таком уровне, что однажды ему условно вручили «личное клеймо».

Возраст и качество работы поставили между Вагановым и Дьячковым границу, но непрочную. Ваганов все время видел Дьячкова, Дьячков — Ваганова. Неприязнь их была, разумеется, обоюдной, и нельзя сказать, чтобы она оставалась неизменной.

Что больше всего возмущало Ваганова в Дьячкове — об этом надо сказать. Дьячков очень серьезно поверил в то, что он начальник, хотя повысили его только за сверхпроводимость; и он разыгрывал эту роль не в шутку, что, в силу давних демократических традиций в их отделе, принималось либо с недоумением, либо как нововведение, которое может и не прижиться.

Хорошенькая секретарша Инна, вчерашняя школьница и заочница, быстро усвоила их традиции, даже «ты» с теми, кто был старше ее, и звала Дьячкова, как все, Витей. Она ушла в отпуск, а Дьячков в это время стал заведующим отделом. Вернувшись, Инна снова было назвала Дьячкова по имени (другой бы радовался), но Дьячков не медля установил новую дистанцию. «Пока вас не было, Инна Александровна,— вызвав прореху улыбки на лице, сообщил он,—я стал Виктором Федоровичем». Инна вспыхнула. «Маков цвет» — вот как раз та краска, которую можно здесь показать; но цвет этот не предназначался Дьячкову, так что оставим маки для другого случая. Она пролепетала что-то, не успев собраться, а минуту спустя навсегда запрезирала Дьячкова, прозвав его чучелом. Добавила к десятку прозвищ еще одно.

И уж как теперь—на сто верст удлинив дистанцию, которую предложил ей Дьячков,—произносила она имя-отчество его, какую гримаску пренебрежения и неприступности состраивала на хорошеньком личике, если приходилось ей входить в его кабинет! Дьячков это терпел, как терпел и отчуждение других.

Что делать, если Дьячков причислил себя к верхнему кругу, и других отношений с коллегами, кроме официальных, не признавал, хотя и страдал, наверно, от одиночества!

Он отводил душу на собраниях. Парень ухитрялся, не сказав ни одного своего слова, произносить длинные правильные речи по любому поводу. Дьячков барабанил нечто общее, обращаясь либо к однородной массе, либо к зеркалу, где он видел себя, столь правильно говорящего. В этом, однако он усматривал свой долг, а долг сидящих на собрании он видел в там, чтобы его слушали.

То, что он говорил, ни к кому не было обращено и ни к чему не обязывало — и Ваганова злило собственное долготерпение: почему он должен терять время на трепотню Дьячкова? Почему не встанет и не выйдет? Да, почему?..

И вот этот человек появился на поляне Ваганова! На поляне, где все уже вагановское, почти домашнее, почти нательное. Он шел в обход дерева, озабоченно оглядывая поляну.

— Сгинь! — заорал Ваганов.— Сгинь, нечистая сила!

Но Дьячков не сгинул. Он сделал вид, что не слышал

вагановского окрика. Дьячков продолжал

все тот же озабоченный осмотр поляны. Он поглядывал и на дерево, не замечая под ним Ваганова, он, может, прикидывал даже, не спилить ли его. Ваганов почувствовал злобу и одновременно знакомое по тем или иным поводам бессилие, ту серую пустоту под сердцем, ту тоску, когда знаешь, что ничего не можешь изменить.

Не было бы у Ваганова такой враждебности к Дьячкову, не встречайся тот ему на протяжении всей жизни. Он хорошо знал его по армии, Дьячков попадался ему в институте, и теперь вот — на работе. Скромный, умеющий слушать и слушаться Дьячков... он вдруг делал шаг и оказывался за чертой, из-за которой смотрел на Ваганова холодным взглядом человека, которому с ним не по пути. И Ваганов, доверчивый Ваганов, принимавший Дьячкова как друга и конфидента, оценивался этим взглядом уже как бы с высоты, дающей, кроме того, возможность определить Ваганова с точки зрения его «позиции». А так как Ваганов был откровенен и нелюбви своей к дьячковым не скрывал, они в тот самый момент, когда Дьячков делал свой решающий в жизни шаг, становились антиподами и через некоторое время — врагами.

Так было уже не раз, и Ваганов узнавал теперь Дьячкова, во что бы тот ни рядился, по неодолимому стремлению приобщиться к некоей множественности, силе, которая признает его, Дьячкова, талант — послушание, узнает его по нему и по желанию во что бы то ни стало пробиться, вырваться наверх, примет к себе — и он возвысится над Вагановым и другими, что так вызывающе, так неоправданно независимы...

Дьячков уже сделал попытку затронуть Ваганова, произведя без ведома того изменения в его отчете, - Ваганов не на шутку пообещал оторвать ему нос (нос у Дьячкова, при отсутствии подбородка, был крупный) и наговорил много обдуманно неприятного и оскорбительного — вылил на Дьячкова то, что накоплено было примерно на десятерых. Реакция Дьячкова была та же: он все это проглотил, но внешне не изменился и жаловаться не пошел. Они находились на разных горизонтах — и что Дьячкову было до вагановских нижестоящих страстей!

Дьячков продолжал свой административный осмотр поляны, Ваганов не сводил с него глаз — как зафлаживаемый волк.

Дьячков вдруг круто повернул и направился прямо к дереву Ваганова, будто только что его увидел. Улыбался он отвратительно — осклаблялся, улыбка разрывала его лицо, делала прореху — н все-таки он улыбался.

— Здравствуйте, Вениамин Васильевич!—сказал Дьячков, протягивая руку.

Ваганов не встал ему навстречу. — В чем дело?—спросил он как можно грубее, останавливая движение Дьячкова.

— Дело в том,— погасив свою ужасную улыбку, ответил Дьячков,— дело в том, что я заболел, и мне посоветовали этот способ,—он показал на лиану.—И вот я здесь.— Дьячков снова попробовал улыбнуться. Лучше бы он этого не делал!

— У лианы может находиться только один человек,— на всякий случай проинформировал Дьячкова Ваганов.

Ответ того выскользнул без задержки:

— Тогда мы бросим жребий — кому быть у лианы.

«Хорош,— отваливаясь к дереву спиной, спокойно подумал Ваганов. Он внимательно, словно узнал еще что-то новое, разглядывал Дьячкова. Ваганов чувствовал свое физическое превосходство, несмотря на болезнь, перед Дьячковым.—Прямо головорез! Нисколько не изменился. Даже не подумал о главном праве здесь —о праве первого. Воспитание, что ли? Или гены? Нет, скорее воспитание!»

— Мы не будем бросать жребий,— сказал Ваганов, лениво поднимаясь и потягиваясь, хотя дрожал от негодования.

— Почему?

— Потому, что я здесь первый.

— Ну и что? Не понимал.

— А то,— тоном объясняющего урок нерадивому продолжал Ваганов,— что тебе придется поискать другую лиану.

— Почему не ват?

Он не понимал. Не понимал! ЧТО-ТО мешало ему понимать. Это был Дьячков, давно знакомый Дьячков, его ни с кем не спутаешь.

— Послушай...— Ваганов говорил медленно, будто нехотя,— Тебе придется поискать другую лиану. Если ты меня хорошенько попросишь, я тебе в этом помогу. Но коль ты претендуешь на мою, здесь, в джунглях,— учти, я буду царапаться. Понял?

Все это стало походить на сценку из американского боевика, и Ваганов поспешил оборвать ее.

— И не продолжай больше разговора о моей лиане. Сядь вон там, посиди, подумай. А потам сообщишь мне свое решение.

— Я сам знаю, что мне делать! — взбрыкнул Дьячков. Повернулся и пошагал через поляну к лесу: загребая ногой, нелепо расставив руки.

Ваганов сел у дерева, чувствуя, как ослабли от нервной дрожи ноги и руки. «Хорош американец»,— подумал он.

Хотя эпизод еще витал в воздухе, ему стало жаль Дьячкова. Он, наверное, идет сейчас в деревню—нелепый, неприспособленный к движению, больной. Ваганову было стыдно

и за то, что так грубо встретил Дьячкова...

— Сукин сын!—рявкнул на всю поляну Ваганов, чтобы отогнать жалость.— Жребий он собирался бросать!

Вернуться мыслями к лиане было трудно; Ваганов испугался, что недоброгой оттолкнул ее от себя.

Два дня ушло у Ваганова на то, чтобы как-то развеять след, оставленный на поляне Дьячковым. Повсюду Ваганову чудился его силуэт, и он даже вздрагивал, услышав треск ветки в лесу.

Когда же на третий день поляна снова стала чистой и вздохнулось легко, когда он снова остался с лианой — ему казалось, отвоеванной — наедине, возникло впечатление, словно он вернулся издалека. Ваганов подумал, что даже если он выздоровеет, никогда у него не будет больше такой поляны, такого дня, как сегодня, такого прекрасного одиночества-без-одиночества. Ваганов понял, что полюбил это место, как можно полюбить живое существо, что оно навсегда вошло в его память, что если он останется жить, оно будет в нем, как все полюбившиеся в природе места...

И уже без напряжения и чувства зависимости от лианы подошел он к дереву, положил ладонь на лиану. Не зная, что сказать, забормотал то неясное, общее, что говорят иногда ради одной только интонации:

— Все в порядке, старушка, все в порядке... Ну ее к черту, мою болячку! Я не подгоняю тебя; захочешь— вылечишь, не захочешь — бог, как говорится, тебе судья. Дай мне еще несколько таких дней — и будь что будет! — Припал к дереву, обнял его, прижался щекой, ухом к стволу, слушая шум листьев наверху.

И все-таки забеспокоился: что с ним? И не стал доискиваться ответа. Наверно, просто устал от напряжения, наверно, это поблажка, которую позволила себе нервная система.

Пришла, правда, еще одна мысль — что лиана подала ему незаметный знак: все будет хорошо, она вылечит его...

Было у Ваганова ощущение безоглядного счастья— чувство восторга, опьянения; что-то обратилось в радость, и Ваганов принял ее, не думая о том, что она кончится через некоторое время, сменится по закону физики на противоположное.

Ваганов оглядывал поляну, лес справа и слева, зеленую высокотравую с редкими группками кустов низину, лес за ней, видный ему сверху, голую пирамиду темно-серой горы, из-за которой всходило солнце, Гималаи, чье величие можно сравнить только с громом — они были до неба, с облачно-белыми прозрачными вершинами... боже мой!

Гималаи— взлет их — показался ему громовым аккордом: он

услышал его так ясно, что, будь музыкантом, записал бы; небольшое прозрачное облако, плывущее на уровне пояса горы, легко вызвало мелодию, прозвучавшую и смолкшую; ссыпавшийся сверху и забеливший крутой склон снег, таявший на солнце и темнивший чистейшей в мире водой серый камень горы, родил целую музыкальную тему — тему облаков, снега, солнца, воды: звонкие звуки долго слышались где-то чуть повыше его.

Не зная, во что еще обратится неожиданная радость, Ваганов пошел вниз, трогая цветы, которые были ему по пояс, лаская их рукой; вдруг ему захотелось побыть у родника — он немедленно завернул в лес. Родник, ямка, вымытая водой, бьющей снизу крохотным песчаным фонтанчиком, был пронизан солнечным лучом толщиной в палец. Ваганов сел у родника и стал смотреть на воду. По поверхности ее магическими кругами ходил небольшой желтый лист, даже не желтый, а светлозеленый, опавший раньше времени. Это была ворожба, холодное кипение воды, лесное колдовство, приготовление зелья — а солнечный палец словно пробовал температуру его...

Ваганов встал на колени, наклонился к воде, увидел свое небритое лицо, коснулся холодка губами и носом, стал пить. Лист подплыл и защекотал щеку.

— Мистер Ваганов! — услышал он русский голос и вздрогнул.— Вы, кажется, стали буддистом?

Еще не обернувшись, Ваганов узнал говорящего.

— Стас,— сказал он. Выпрямился.— Стаська, ты болен?

— Испугался за СВОЮ лиану? Я думал, ты меня иначе встретишь.

— Балда. Хоть ешь ее. Я о тебе подумал.

— Ну, спасибо. Я здесь в командировке, в Шайоне. Строим кое-что. Сказали: у нас еще один русский, мистер Ваганов. Лечится... Как твои дела?— Они пожали руки, Стас сел рядом.

Ваганов не удержался и хлопнул его по плечу.

— Даешь, старик! Этакий сюрприз преподнес! Я здесь как Робинзон, с собой уже разговариваю, о попугае подумываю — и вдруг ты!

Вид у тебя ничего,— ответил Стас.— Посвежел, похудел. Как все-таки дела?

— Понимаешь...— Ваганов коротко рассказал о своих взаимоотношениях с лианой.

— Похоже, конечно, на бредятину... Но черт его знает! Я бы ни за что не поверил. Это в твоем духе. Ну-ка вставай. Я кое-что захватил с собой. Посидим там.

У дерева с лианой стоял портфель Стаса.

— А может, тебе нельзя? — спросил Стас, когда они подошли.

— К черту, к черту все!—сказал Ваганов.— Ты плохо обо мне думаешь. Что там у тебя?

— Ты тоже плохо обо мне думаешь, если спрашиваешь.—Стас щелкнул замком и достал бутылку «Пшеничной».

— Мамочка моя! У меня сердце было замерло: вытащит, думаю, какой-нибудь шнапс...

Стас был тот друг Ваганова, с которым их развели разные города.

Стас принес с собой сыр, свежий хлеб, консервы, которые они не стали открывать, и даже тонкие стаканы (в гостинице захватил), стаканы были немедленно наполнены на треть.

— Черного бы еще хлебушка,— сказал Ваганов, разглядывая поляну сквозь стакан.

— Знал бы, привез бы,— ответил Стас, и они чокнулись.— Твое здоровье, старик!

Разговор шел беспорядочный, обо всем, чем были наполнены эти 25 лет, начиная с дня, когда они познакомились, сидя на армейских койках и пришивая букву Н (ноги) к одеялу и вышивая свои фамилии на простынях. Разговор шел о женах и детях, о службе, об общих знакомых, о «помнишь?», о... нет, о дружбе не было сказано ни слова; разговор шел об отпусках, других городах, снова об общих знакомых, о женщинах, которых стоило вспомнить,— бутылка пустела, а они не пьянели, только становилось теплее да больше и легче вспоминалось. Все чаще приходила Ваганову мысль, что ведь Стасу нужно будет уйти, и от этого становилось жутко. Стасу, видимо, тоже пришла эта же мысль, и он сказал, что, наверно, Ваганов уедет домой раньше, потому что у него контракт на два года, а хотелось бы вместе...

Потом эта мысль пришла обоим в голову одновременно, и оба замолчали. В бутылке было еще немного водки.

— Оставить тебе на завтра? — спросил Стас. Ваганов, обдумывая ответ, оказавшийся не таким простым, разлил водку по стаканам.

— Зачем она мне завтра? — наконец ответил он. Стас кивнул.

Подняли стаканы, помолчав, как и перед первым тостом.

— Придешь? — спросил Ваганов.

— Дня через три-четыре,— ответил Стас.— Много будет работы в эти дни.

— Давай,—сказал Ваганов, они чокнулись и выпили.

Уже чуть прохладнело, Ваганов оглянулся: солнце было над острыми верхушками леса.

— Тебе идти,— сказал он.

Стас тоже оглянулся. И ответил уверенно (по этой уверенности Ваганов еще раз узнал Стаса):

— Еще можно. Все равно в деревне ночевать. Ты, я вижу, не куришь?

— Давно бросил. В лесу зверья не видел?

— Мелочь всякая.— Стас закурил, жадно хватанул дымка.

— А то ведь ружье есть.

— Дойду. Принести тебе чего?

— Соков пару банок.— Еще раз оглянулся. — Пора тебе, Стас. В темноте будет «не груба».— Это раньше было словечко Стаса, по которому узнавали харьковчан.

Стас улыбнулся.

— Жему помнишь?

Жема был один из харьковчан, с которым они были в одной части.

— Худой такой? Чернявый?

— Да. Демобилизовался. Кап-три. Начальник кадров на заводе.

— Не густо.

— Что поделаешь. Стас застегнул портфель.

— Ладно. А у тебя красиво здесь. Санаторий. Ну...— протянул руку.

Ваганов руку пожал, но сказал:

— Я провожу.

Не замечая, они перешли на тот отрывистый разговор, который отличает военный люд, и особенно моряков.

У леса, согретого заходящим солнцем, остановились. Ваганов почувствовал, дрожат губы.

— Ну и сюрприз ты мне подкинул,— сказал он.

— Выздоравливай.

— Хорошо, старик. Я постараюсь. Нину Джорджевич помнишь?

— Улица Баранова, дом двадцать. Пока. Мой привет лиане.

Пожали руки. Сильно, так же отрывисто, как говорили. Стас резко повернулся, не оглядываясь, ушел в лес.

Ваганов стоял, уже не удерживая слез. Хотел что-то крикнуть шутливое вслед Стасу, но не рискнул: голос выдал бы слезы.

Долго, до самой темноты сидел у дерева, глядя, как меняются краски на Гималаях, как всемирным потопом поднимается по ним темнота и затопляет горы, а вершины все больше розовеют, становясь похожими на облака, отрываются от гор... Потом они погасли; над Вагановым во всю ширь раскинулось темно-синее небо и зажглись звезды,— на этот раз он вспомнил, как ночью их поднимали на учебном корабле, чтобы провести занятия по астрономии, как отчаянно они зевали, как было холодно, как

вдвоем со Стасом устроились у теплой дымовой трубы и уснули и как их обнаружил здесь старшина... Как наказали, вспомнил — послали в машинное отделение—в самое его пекло— переливать откуда-то куда-то соляной раствор: была семидесятиградусная жара, им казалось, что страшнее кары не бывает, но они были во флотских робах, надетых совсем недавно, грохотали вокруг машины, корабль качало, в борт сильно била волна, было им по восемнадцати лет—и они, обливаясь потом, шутили, потому что даже эта адова работа была им нипочем, потому что было крещение.

Корабль шел тогда в Батуми; в Батуми все время лил дождь, и Ваганов увидел сквозь пелену дождя высокую свеже-зеленую гору, похожую на ту, что стоит возле Шайона.

Спать не хотелось; водку быстро выветрило, голова была ясной.

Ваганов разжег небольшой костер и стал вспоминать случай за случаем, о которых не успели сегодня поговорить.

У них в части была секция бокса. И занимался в секции здоровенный Парсаданян, с которым никто не хотел работать в спарринге. Чуть надев перчатки и попав в ринг, едва увидав перед собой партнера, тот терял голову и бил так, что ни о какой отработке приемов и тактике боя не могло быть и речи. Удары у Парсаданяна были тяжелые, выносливость воловья, а ярость сумасшедшая, не тренировочная и не спортивная даже. Есть, конечно, теоретический способ остановить его — встречными чувствительными ударами,—но он принимал их легко и тут же добирался до тебя и начинал дубасить с обеих рук изо всех сил, превращая тренировочный бой в мясорубку.

Были показательные выступления, и тренер выставил Парсаданяна. Поговорил с ним, тот покивал в ответ; противником Парсаданяну тренер назначил Ваганова, как самого подготовленного и «перспективного».

Ну и вот, ударил гонг, Ваганов и Парсаданян пошли друг другу навстречу. Ваганов заплясал, нанес первый — легчайший — удар левой в голову, тот удар, которым, скорее, проверяют дистанцию, чем бьют. Парсаданян, получив этот удар в лоб, обо всем сразу позабыл и ринулся месить не подготовленного к мясорубке Ваганова. Немедленно расквасил нос, Ваганов уже шатался, закрываясь вглухую, в голове гудело,— ждал голоса судьи: это же показательные! Интерес к бою сразу пропал— он ведь и не защищался как следует, этот дурной Парсаданян принял его легкий удар за настоящий.

Тренер догадался наконец — по умоляющему взгляду Ваганова — остановить бой. Вышел вместе с окровавленным

Вагановым за кулисы, где ожидали очереди другие боксеры.

— Кто пойдет работать с Парсаданяном?'

Парсаданян стоял в углу ринга, что называется, поводя кровавым глазом, ждал следующей жертвы.

Все топтались, искоса поглядывая то на него, то на Ваганова, останавливающего кровь мокрым полотенцем.

— Ну?

Стас поднял руку.

Парсаданян озверел в первые же секунды. Но Стас другого и не ждал. Все боксеры смотрели этот бой. Какие уж тут показательные!

Парсаданян голоса судьи не слышал, а тот боялся броситься разнимать. Оба лупили друг друга, как американские профессионалы. Парсаданяну впервые попался равный противник. Но если с одной стороны была ярость, слепое бешенство — иначе не назовешь, с другой... Стас, знал Ваганов, все время испытывал себя — то на том, то на этом. Сейчас он пробовал себя с Парсаданяном, проверял себя — вот что было с другой стороны. Выдержал два-три десятка костоломных ударов, начал отвечать, найдя дырки,— чувствительно. Парсаданян призадумался. Стас стал бить сильнее — Парсаданян вспомнил о защите. Стас начал танцевать, время от времени доставая Парсаданяна — тот тоже стал передвигаться по рингу, уклоняться, хитрить, бить по корпусу, а не только в голову... как и требовалось по правилам игры. Бой стал похож на показательный, если не считать, что у обоих кровили носы и под глазами набухали фингалы, а у Стаса, конечно, была рассечена вдобавок бровь.

Ваганов завидовал Стасу: тот был сильнее его. Сильнее... Во всех случаях, какие сейчас приходили на ум, Стас был сильнее Ваганова. Он умел идти вперед. И не напролом, а с умом, с умом! Голова у Стаса работала хорошо.

И то, что он пришел сейчас к нему, похоже на него. Другой мог бы не прийти. Мог бы заблудиться по дороге и вернуться...

— Постой,— забеспокоился Ваганов,— а правда, что Стас в командировке? Вдруг он тоже болен? Стас?

От неожиданной этой мысли Ваганова бросило в жар. Стал вспоминать все подробности встречи. Желтоват. Пил, правда, хорошо, не пьянея. Нет, тут ничего... На лиану и не взглянул. Хотя... пару раз поднял голову. Но той растерянности в глазах, какая бывает у тяжело больного человека, у него нет. Ваганов узнал бы ее.

Да, он ведь спросил, много ли здесь таких лиан? Просто любопытство?

Стас не стал бы претендовать на его лиану, он скорее сгнил бы заживо.

А я?—немедленно возник вопрос,— а я стал бы?

Ваганов рассмеялся: нет, не стал бы. Не стал бы, если б даже у лианы хозяином сидела эта гусеница Дьячков.

И Ваганов знал — почему.

В свое время они со Стасом были порядочные гусары. Их, наверное, это и свело поначалу. Гусарить, впрочем, тогда, в юности, полагалось, и они гусарили прежде всего друг перед другом. Но чем дальше, тем сильнее проглядывала сквозь гусарство формула поведения, которая укладывалась в известную: честь дороже. Это хорошая, но трудная формула. Она позволяет сохранить свое, если оно есть и если оно дорого. Когда взвешиваешь слишком многое и слишком часто, бывшему гусару в трудную минуту остается еще возможность швырнуть на весы эту золотую, старой чеканки монету и задрать подбородок, хотя, возможно, это и будет выглядеть глупо.

«Нет, не стал бы,— думал Ваганов,— не стал бы».

Долгое время соревнуясь со Стасом, он много у него перенял. Словечки, интонацию, в какой-то мере умение следовать в одном направлении. Но формула была делом рук обоих, и они ревниво следили — верен ли ей друг. И подставляли друг друга в иную минуту перед трудностью: а как сделал бы он?..

Давно уже была над Вагановым ночь; звезды перемигивались, словно убедившись, что за ними никто уже не подглядывает, в лесу вокруг себя слышал Ваганов возню, крики, свисты и ухание; кто-то невидимый пил что-то из луны-пиалы, наклонив ее; время от времени кейфующего наверху закрывали, кружась в небыстром хороводе, прозрачные платки; спать Ваганову не хотелось и о лиане, слава богу, не думалось; Ваганов всматривался в темноту, туда, где из-за горы всходило солнце, и хотя темнота была плотной, он решил дождаться сегодня восхода.

Приближения зверя Ваганов не услышал, а почувствовал: вдруг напрягся, всматриваясь в темноту за костром, и нащупал ружье. Успел только подбросить ветку в гаснущий огонь.

Чуть покачиваясь, к нему плыли в темноте два огонька; Ваганов взвел курки. Ветка загорелась и осветила морду тигра, которая показалась Ваганову маской, одной только маской, вынырнувшей из темноты.

Тигр, сунувшись в круг огня, остановился, разглядывая хорошо освещенного костром Ваганова. Костер был маленький, его ничего не стоило перепрыгнуть.

Тигр стоял так близко, что Ваганов не целился в него, он просто выставил ствол, прижав приклад к боку и держа палец на

спусковом крючке. Он не знал, почему не выстрелил сразу, что-то остановило его.

Тигр замер; замер и Ваганов, зная, что любое его движение может вызвать прыжок тигра, так же, как любое движение тигра вызовет его выстрел.

Ветка догорала, сейчас она -погаснет. Тигр прыгнет. Сейчас он выстрелит — раньше, чем прыгнет тигр.

Челюсть тигра шевелилась, верхние губы вздрагивали, топорща жесткие редкие усы; он перекатывал в горле глухое рычание, не выпуская его наружу, и не сводил с Ваганова глаз.

Ветка погасла, на земле между ними лежала маленькая горка жара.

Звуков не было ни одного, не было и движения— вся ночь замерла, ожидая развязки...

Костер погас, но опять что-то удержало Ваганова от выстрела — может быть, то звериное, что осталось в каждом из людей от прошлого, тот инстинкт, который до последнего удерживает от смертельной драки, то чутье, которое выше ума, опыта и страха.

Тигр не был виден весь, он мог изготовиться к прыжку — подогнуть задние лапы — незаметно для Ваганова, но Ваганов надеялся все прочесть на его морде и не стрелял.

В морде тигра было много человеческого—властное, хмурое лицо владыки этих мест, лицо правителя давних времен, чьих мыслей никогда не понять простому человеку, но было и от зверя — слишком долгая пристальность взгляда, ждущая, наверное, какого-то движения от застигнутого врасплох.

Ваганов не шевелился — все замерло в нем, даже кровь, кажется, остановилась, чтобы не мешать своим движением и шумом слуху.

Клекот в горле тигра усилился, хотя выражение на морде не изменилось, тигр приоткрыл пасть и негромко рявкнул. Но Ваганов понял его как то административное рявкание, какое полагается, но не идет изнутри. Так —на всякий случай — громыхают отцы на детей или покрикивают дворники на могущих что-то сломать или разбить мальчишек.

Тигр рявкнул и исчез,— так быстро, что Ваганов испугался: ему почудилось, что он проглядел, как тигр прыгнул, и вот сейчас обрушится на него сверху.

Еще несколько мгновений он сидел неподвижно — вжав голову в плечи. Потом услышал возвращающиеся звуки ночи — ужас отпустил и ее— и положил ружье на землю. Понял, что тигр ушел. Нащупал ветку и бросил ее в костер.

Ветка загорелась не сразу; Ваганов застыло смотрел на нее. Было ощущение, что он нес смертельно тяжелую поклажу и вот

сбросил. Он устал весь: спина, ноги, шея; рук было не поднять. Бешено колотилось сердце.

Костер снова засветился, круг света расширился.

— Слышь, Стас,— сказал негромко Ваганов,— а водки действительно нужно было оставить — мне бы сейчас хоть глоток...— Голос его снова наполнил поляну, знаменуя возврат хозяина.

Еще хватило сил вытянуть из палатки спальник и постелить под деревом: сон сменил напряжение так быстро, что Ваганов не заметил переключения.

Лег, подтянул, как всегда, к себе ружье. Костер покрывался белым одеялом пепла. На месте восхода была темнота. Вокруг орали, свистели, ухали, квакали, пели.

— Пока, братья,— сказал Ваганов и закрыл глаза.

Но тут же на него стала надвигаться морда тигра.

— Это нечестно,— пробормотал Ваганов.— Поиграли — и хватит.

Но только позволил векам сомкнуться, как тигр появился снова.

— Ну и перетрусил же я,— сказал Ваганов и приподнялся на локте.— Чур-чур меня! Отвали, тигр!

Захотелось пить, протянул руку в темноту. Коснулся чего-то холодного и испугался, представив нависшую над ним змею. Отдернул руку и стал вглядываться в темноту, ожидая удара.

Небо уже серело, стал виден далекий силуэт горы на востоке. Там небо было еще светлее. И на фоне светлеющего неба Ваганов увидел плеть лианы, которая качалась в полуметре от его лица. Лиана спустилась к нему!

Он подставил ладонь острому зеленому клюву.

— Я здесь,—зашептал Ваганов,—я здесь, дружище Лиана,— ты слышишь меня? Я здесь!..

Восток засветился, на небе раскрылся разноцветный веер лучей.

Зажглись снежные шапки Гималаев.

Зашумело дерево вверху — это вздохнула, наверное, проснувшись, гора и родила первый утренний ветерок.

Лиана качнулась и прочертила клювом какую-то линию на ладони Ваганова.

Другой рукой он достал бутылку с водой, отпил два глотка и столько же вылил под дерево.

Солнце расплавило вершину горы и вырвалось в небо. Еще неяркое, большое, оно оранжево осветило дерево, лиану, оставившую сук, лицо Ваганова, небритое, с запавшими глазами — глазами, сумасшедшими от счастья; Ваганов стоял на коленях,

подставив руки под лиану, которая лилась, падала в его ладони, как струя живой воды...

Откуда мое воображение? — думает иногда Ваганов.

И приходит к выводу, что из армии. Да, из армии.

Это армия развила его воображение.

— Ну, поехал,— сказал бы Стас, услышь он эти слова. Но все равно сел бы поудобнее, чтобы выслушать доказательства.

* * *

На выпускном вечере каждый из них получил в подарок город. Большинство после выпускного вечера разъехались, и все, кто уехал, увезли подарок с собой.

Собственно говоря, это был не весь город. То это была улица. То площадь. То парк — и опять не весь: скамейка, дорожка, посыпанная песком, чугунная ограда, целая аллея... Улица была то дневная, солнечная, то вечерняя, полная народу, то дождливая, с блестящим булыжником мостовой и пышной пеной у водосточных труб. А кому-то достался целый вечер на Театральной площади перед экзаменом по русскому...

Город — если подарки сложить вместе — был очень красив. Он строился для влюбленных! Узкие улицы высоких и островерхих домов, улетающий в небо костел, башенки, шпили, узорные флюгера на крышах, деревянные с резьбой и матовыми стеклами и медными тяжелыми ручками двери, мраморные лестницы, парки, парки, парки и— влажные, душистые, полные зелени вечера, мягкие снежные зимы с медленными хлопьями снега, хвойные и лиственные старые леса на холмах вокруг города, окаймленного с другой стороны извилистой быстрой речкой, собирающей воды в горах...

Промышленностью город не славился: что-то пуговичное, что-то чулочно-носочное, что-то галантерейное, мелкометаллическое, ширпотребовское— все чуть ли не на уровне артели. Раньше это был город сытых, стригущих купоны (где они их брали, хотелось бы знать!) буржуа, торговцев, негоциантов, помещиков, понастроивших в нем целые улицы красивых двухэтажных вилл. Виллы часто носили имена женщин: «Вилла Вера», «Вилла Мария»...

Раньше в городе, на перекрестках, стояли распятия, каменные, деревянные, искусно сработанные, под ними всегда теплилось несколько свечек, поставленных крестьянками из окружающих город сел; однажды все распятия — за одну ночь — сняли.

Зато был в городе университет, медицинский институт и множество школ, тогда «мужских» и «женских». И вечерние улицы населяли студенты и школьники — народ, ждавший любви.

Город с его буйно-зелеными веснами и пышноснежными зимами, с его старинно-красивыми зданиями и женскими именами на фронтонах вилл, обсаженных голубыми елями; время итальянских фильмов, в которых пели сладкоголосые теноры Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Тито Скипа— фильмов с такими же мелодраматическими, как содержание, названиями: «Ты мое счастье», «Вернись», «Где моя дочь?», «Песни на улицах». А им было пятнадцать, шестнадцать, семнадцать — все было на руку любви. И население города толпилось вечерами па одной только улице — недлинной, узкой, в зеркальных витринах магазинов и кафе, хорошо освещенной, без машин, созданной для вечернего прогуливания. Ходили, выискивая в движущемся навстречу потоке ту, единственную, чтобы, встретившись, уйти па одну из менее освещенных улиц, где над головами смыкалась зелень вековых деревьев, либо на Театральную площадь, где под неяркими фонарями стояли тяжелые скамейки, либо в парк, где неподалеку играла музыка.

Вот этот-то сентиментальный город и получили они на выпускном вечере и разъехались кто куда, увозя подарки с собой.

Одной из самых любимых песен на каменном мысу, где стояла воинская часть, была «Журавли».

Здесь, под небом чужим,
Я, как гость нежеланный...

Ее пели хором, под гитару, слушали в записи, сделанной «на ребрах», напевали вдвоем-втроем в минуты «личного времени», мурлыкали между делом.

Неба, как такового, не было. Была над ними огромная бесцветная пустота, и в этой пустоте, не терпя вокруг себя никого, крутилось маленькое, лысое и злое, сжегшее голубизну солнце. Не было деревьев на земле — только камень: камень зданий, высокой стены воинской части, камень самого мыса, чуть прикрытый землей; дороги в город, и те были пробиты в камне, ржавом и ноздреватом; камнем были забросаны все окрестности.

Края мыса были желтые откосы, с которых сверху свисали корни трав и сами травы, внизу лежала живописная полоса гальки и крупных камней, сорванных штормами с откосов, иногда огромных, скатившихся сверху в незапамятные времена.

Каменный мыс и море, отороченное дымным пояском горизонта, бегущие на мыс бесконечные волны— взгляд напрасно искал на его пустом поле хоть что-нибудь; иногда возникал низко сидящий в воде темный военный корабль или — о праздник!— показывался пассажирский теплоход — белый, праздно-красивый дом на море, с него доносилась веселая музыка, берег сотрясал низкий гудок.

Их, из острокрышего города, оказалось на мысу семеро; здесь-то они, собираясь вместе, и складывали свой город воедино, сидя где-нибудь на берегу: хлюпала волна в камнях, они бросали в воду камешки и — бродили по улицам своего города, утонувшего в зелени деревьев. Они приезжали в свой город бравыми моряками: длинные не по-уставному ленты бескозырок, ушитые, в обтяжку, суконки, клеши, до золотого блеска надраенные тяжелые бляхи.

Всемером — шеренгой — они выходили на недлинную в зеркальных витринах улицу, шли, чувствуя устремленные на них взгляды, смотрели сами вокруг, узнавая лица, каждую знакомую дверь, щербинку на стене...

Они входили в свой город победителями: они заслужили на него право, живя так долго на каменном мысу, с трех сторон окруженном морем, не видя деревьев, месяцами не встречая женских лиц, отгороженные от привычного мира каменной стеной, мира, получившего название «гражданки» и ставшего ужасно от них далеким...

Старшин, которым они были вручены и которые вышибали из них «гражданский» дух, они награждали самыми злыми прозвищами, на которые только были способны.

Старшины мыслили геометрически. Всякое аморфное тело вызывало у них немедленный протест и раздражение. Но зато каким спокойным и уверенным становился взгляд старшины, когда он видел перед собой четкий прямоугольник воинского строя.

— А-ррясь! — рявкал старшина, в чьих устах слово «равняйсь» давно уже превратилось в этот хлесткий звук.— Хирра! Астыть! (отставить). На месте ша-а-ам...— пел он, закрыв в упоении глаза, и выдыхал:—Ырш! Ротэ-э-э... Сту!—Последний звук был похож на удар приклада об пол. И снова:— А-ррясь! Хирра! Ра-ение на средину! Товарищ капитан третьего ранга! Ррота по вашему приказанию построена!

Затем следовало командирское:

— Здравствуйте, товарищи!

— Драв-таф-таф-таф-таф! — отвечали они.

Командир удовлетворенно отрывал руку от виска и,

похаживая перед прямоугольником строя, начинал говорить.

Прямоугольник строя стоял на прямоугольнике стадиона. Над ними каталось по небу, как яичный желток по эмалевой сковороде, брызгавшее жаром солнце. Их робы сначала темнели от пота, а потом белели от соли. Раскалялись бескозырки. Ноги гудели от бесконечных «тяни носо-о-ок» и «атьдва», над прямоугольником строя курилась пыль... А рядом со стадионом, за оградой, взлетали вверх голубые брызги —там был городской пляж, один из лучших — «Солнечный». Оттуда доносились визг, крики, буханье мяча, плеск воды. На стене забора появлялись чьи-то круглые, как тыквы, головы, ГОЛОВЫ переглядывались, лупились на них, сердито отбивающих шаг, и их работа казалась им ужасно бессмысленной.

В перерывах они валились, кряхтя по-стариковски, на пыльную короткую траву и курили махорку, сворачивая цигарки из газеты, припасенной кем-то, знакомым с махрой и раньше. Старшины не садились, они стояли неподалеку, будто и не было сумасшедшего солнца и усталости, и беседовали, поглядывая то на них, то на часы. Потом один поправлял фуражку и, сделав к ним шаг, зычно кричал:

— Кончай перекур! Подъем!

— Подъе-о-ом! Подъе-о-ом! —орали, как петухи, в 6 ноль-ноль командиры взводов. Они, поднятые раньше, вопят оголтело, упоенно, выкатив глаза, с там наслаждением злорадства, с каким недоспавший человек будит другого. Они и не скрывают этого наслаждения.

— Подъе-о-ом! Подъе-о-ом!— Этот «подъем» звучит, как «пожар»!

А путы сна так крепки, так тянут вниз, что только дашь слабинку, как снова оказываешься в подушке. Но тут уж с тебя сдирают одеяло.

— Подъе-о-ом!

Кажется, все бы отдал, чтобы доспать этот час: движение, звуки, само просыпание мучительны...

Начиналась заправка коек. Ну и муки же они терпели, делая из матраца, набитого соломой, «кирпич» и выравнивая полоски на одеялах в одну линию, которая проверялась старшинским шнуром, натянутым во всю длину казармы.

У Ваганова с этим делом лада не было. Он возился с койкой дольше всех, и все равно «кирпича» не получалось. Выходило псе что угодно, только не кирпич. Старшина подходил и сдергивал одеяло, и Ваганов начинал сначала. Он не жалел уже сил и терпения, но матрац не поддавался. Однажды, видя напрасные старания Ваганова, старшина решил показать ему, как в конце

концов это делается. Он сам взялся заправить койку Ваганова, а тот, взмокший от усердия, стоял рядом, отдувался и смотрел.

Старшина вступил в борьбу с матрацем Ваганова. Матрац внешне ничем не отличался от остальных, но, видимо, было в нем уже что-то такое, какое-то упрямство, родившееся от соприкосновения с Вагановым. Он сопротивлялся. У него сами собой вырастали горбы, он проваливался. Матрац кололся, как еж, и шипел. Старшина растерялся. Весь его опыт, железное терпение и выдержка пасовали перед Вагановским матрацем: тот не хотел становиться кирпичом. Старшина покраснел и взмок. Он расстегнул воротник.

— Да бросьте вы, товарищ старшина,— пришел на помощь Ваганов.— Оставьте его к черту!

— Как это «к черту»! — взорвался старшина.—

Что вы себе позволяете, Ваганов!

И старшина снова погрузился в матрац, который совсем взбесился в это утро и, как подумал Ваганов, мог даже удрать от них на берег моря, лишь бы не стать уставным кирпичом.

Вдруг Ваганов заметил устремленный на него растерянно-вопросительный взгляд старшины.

— Действительно, черт знает что, Ваганов! — сказал в сердцах тот, вставая.— Чем вы его набили?

Ваганов пожал плечами.

— Соломой, товарищ старшина...

Старшина был обескуражен. Уставной порядок его мыслей нарушился. Он еще раз глянул на койку Ваганова, на притихший, но все еще выжидающе, с угрозой, потрескивающий соломой матрац, потом на самого Ваганова и вдруг сообщил столь странный и, оказалось, столь верный вывод, что Ваганов вспоминал его не раз и на «гражданке»: — Ох, трудно вам, Ваганов, придется! — Этот старшина был со всеми на «вы».— Попомните мое слово: трудно будете жить, Ваганов! — Старшина покачал головой, жалеючи его.— Заправьте как можете и ступайте в строй!

Когда они возвращались в роту с занятий, когда строй рассыпался по команде «р-разойдись!», большинство спешило к своим койкам, чтобы увидеть на одеяле голубой прямоугольник письма.

Никогда больше письма не были так желанны, так жадно ожидаемы, как в то время. Письма были как свидания — как то свидание, когда тебе ответили наконец признанием, что и я тебя... или что и ты мне...

В письма уходили настолько, что исчезала казарма, становились неслышными команды командиров; влюбленные,

они слушали голоса писем и видели все, о чем там писалось, шевелили губами, отвечая голосу письма, краснели, им становилось то холодно, то жарко от какой-нибудь строчки, которую, стесняясь, прошептало письмо...

Несмотря ни на что, Ваганов в то время был счастлив. Каждое новое письмо было признанием в любви — все более открытым. В письмах вспоминались минуты, которым он не придал значения, а она запомнила: ты тогда сказал мне то-то, ты сделал то-то, и я... — и перед Вагановым во всю высоту — до звезд — вставал тот вечер. Он видел, читая письмо, ее и себя ясно, как в кино,— то идущих по улице, то сидящих на скамейке, то стоящих у подъезда ее дома; они еще ни разу не поцеловались, и каждый ждал от другого хоть какого-то знака, движения, но оба были робки, и вот стояли и стояли у подъезда, все говоря и говоря и все не решаясь и не решаясь притронуться друг к другу.

Как трудно было, услышав команду уже над самым ухом, оторваться от картинки, плывущей перед тобой, и прятать письмо — не в тумбочку, не в тумбочку, а в карман, чтобы побыть с ним еще два-три дня! Чтобы достать его в свободную минуту и перечитать какую-то строчку, проверить, то ли там было сказано, то ли...

Ах, как важно было им, ничего еще не умеющим, не владеющим никакими еще должностями и рангами, не защищенным, кроме самолюбия, никакими еще талантами—как важно было им знать, что их любят! Ведь если любят, значит, есть за что,— это было главное: есть за что.

Как-то, войдя в казарму раньше времени, Ваганов увидел у своей тумбочки старшину; присев на корточки, тот читал его письма, хранимые, как У всех, в фотоальбоме. Ваганов кинулся к нему... Бог спас Ваганова от самого себя в первую минуту, во вторую же старшина, встав по стойке смирно, медным голосом протрубил Ваганову, что на все имеет право, ибо отвечает за него перед армией. Где уж тут было не раз до этого сшибленному с ног Ваганову разбираться в правах своих и старшинских, доискиваться, сбитому с толку, правды. Наверно, на самом деле есть у старшины такие права, хотя... ведь... ее... письма...

До самого построения на обед Ваганов коконом сидел на своей койке, опутанный сопливыми школьными рассуждениями о справедливости и попраний оной, сидел, оглушенный случившимся: зычный голос старшины доносился как бы издалека, все в роте шло своим чередом, только Ваганов был выбит из хода времени. Что-то похожее на отчаяние поднималось изнутри, и Ваганову хотелось моментами закричать... Мозг его то отключался совсем, и Ваганов сидел одеревенев, то зычный

старшинский голос включал сознание, и Ваганов вздрагивал, пугаясь непоправимости случившегося, которое успело обрести облик приснившегося кошмара: старшина, читающий ее письма. Он не захотел идти обедать — просто знал, что кусок не полезет в глотку; старшина, отправив роту с другим, подошел к нему и не отходил, до странности тихим голосом уговаривая пойти и выполнить обряд обеда. Ваганов, не умея объяснить неожиданной мягкости старшины, упрямился, капризничал:

— Ну не хочу я есть, не могу сейчас — как вы не понимаете!..

Дошло, наконец, по настойчивости старшины, что не пойти обедать он не имеет права, в армии

это нельзя — это называется «отказом от пищи» и расценивается как серьезнейшее нарушение порядка,— Ваганов поплелся на камбуз...

А в следующий раз Ваганов собрал взвод на берегу, чтобы... объявить бойкот недавно выделенному из их же среды помкомвзвода.

Тот, став командиром, сразу от взвода отделился, со всеми стал «на вы» и разговаривал отныне резко, по-командирски и свысока, о «непослушании» докладывал старшине или командиру роты, добивался наказания... короче говоря, на полном серьезе разыгрывал роль командира... «Что ж, хочешь так?—пылко разрешил ситуацию Ваганов—Пожалуйста!» И взвод, по его предложению, перестал разговаривать с новоявленным командиром, когда тот подходил к кому-то с обыкновенным разговором... Об этом было тотчас доложено — что, мол, наверное, бойкот,— кое-кто был вызван к командиру роты и допрошен... И скоро по казарме разнесся голос дежурного:

— Ваганова — к командиру роты!

И тут-то Ваганову было разъяснено, что если до сих пор его непослушание можно было как-то объяснить — наивностью, непониманием обстановки, инфантильностью наконец, то пусть он знает: на этот раз им совершено преступление, которое оправдать уже ничем нельзя, кроме как злонамеренностью, либо... «внутренней недисциплинированностью»— так Ваганов впервые познакомился с этим емким термином армейской педагогики. Он получил «месяц без берега», зато понял, что многие старые привычки и правила жизни, усвоить которые тоже стоило труда, в армии — лишний и даже вредный груз.

Здесь, на каменном мысу, в казарме, которая звалась кубриком, на берегу в скалах, куда удирали купаться (соревнуясь, кто дальше нырнет), плавать в шторм, проверяя свою храбрость, Ваганов подружился со Стасом. Это получилось легко: их койки стояли рядом, оба были крепки физически, прочитали одни и те

же книги, у обоих был одинаковый взгляд на многие вещи, например, оба презирали тех, кто выслуживается, и для себя считали это запретным.

За спиной Стаса тоже был красивый город, улица, где встречались все, и любовь, о которой хотелось говорить.

Говорил больше Ваганов. Стас не был лириком, он был человеком дела, организованнее, целеустремленнее, но Ваганова слушал — сначала с усмешкой, но чем дальше, тем серьезнее, находя в его откровениях то, что испытал сам, но высказанное лучше, чем смог бы он.

Они дружили; без дружбы было нельзя в их возрасте, когда ничего не держат на донышке и почти все доверяется другу и проходит его проверку.

Когда Ваганова переводили в другую часть, старшина, наблюдавший его, был единственным из командиров, кто подошел к нему и угостил папиросой. Он сидел рядом и все поглядывал на Ваганова, пока не решился на прощальные слова:

— Вы, Ваганов, все к сердцу, как говорится, слишком близко принимаете,— высказал он свои наблюдения. — В армии так нельзя. Очень уж вы, как говорится, впечатлительны. Так что...— Старшина встал и протянул Ваганову руку.

Ваганов, все еще помня старшину у своей тумбочки, помедлил, но руку все же подал, исподлобья на него глядя.

Стас проводил его до машины. Скуповатый на проявления чувств и слова, он только пожал руку, сказал:

— Давай.— И пообещал:—Увидимся.—Круто— может быть, слишком круто, но так было надо — повернулся и ушел. Стас не оглядывался.

Все, что нужно было сказать, он сказал пожатием руки.

И все-то три года армии были для Ваганова бесконечной полосой стычек с командирами разных рангов, непослушанием, пререканиями, которые в армии классифицируются как «попытка невыполнения приказания», и последующими за этими «попытками» наказаниями, обидой и даже слезами, скрытыми от чужих глаз ночной темнотой.

Надо тут оговориться: с первых же дней армия предстала перед Вагановым той своей стороной, какой предстает она перед упрямцами, из коих, тем не менее, нужно сделать солдат. Ваганов не скоро понял: армия есть армия, это машина на старте, автомат с взведенным затвором — и каждая деталь этого механизма должна быть притерта, смазана и прогрета.

Армия — жесткая, суровая школа. Но этим и полезна. С юнцов она быстро сшибает успевшие отрасти рожки, петухов учит направлять энергию куда надо и поукорачивает хвост.

Подвергая различным и сильным испытаниям молодого, скажем так, человека, армия в кратчайший срок — она наверняка должна знать, кого послать в разведку— определяет, кто ты есть. А старшины в этом деле незаменимые специалисты, специалисты-физиономисты. Они точно знают, кому вынести благодарность, кого сделать младшим командиром, а кому «впилить» два наряда вне очереди.

И коль все это происходит на твоих глазах, ты скорее, чем в других условиях, становишься реалистом, что после школы очень важно.

Армия учит терпению и выдержке — свойствам жизненно необходимым,— терпению и выдержке. Приучает к любому труду: даже самый неприятный и однообразный ты в состоянии выполнить после двух-трех лет службы.

Если хлебнешь в армии всего, чем она богата, из юнца ты превратишься в мужчину.

И только в одном, только в одном ты останешься романтиком...

В армии, в воинской части, отгороженной от остального мира высокой стеной, понимаешь, какое чудо живет рядом с тобой на земле,— женщина; какое чудо переходит улицу вон там, впереди, где сейчас протопает, раздувая чуткие ноздри, твоя рота.

Старший лейтенант Горб, новый командир Ваганова, с первого взгляда почувствовал упрямство в Ваганове и задался целью его переломить. Глаза Горба загорались, когда ему докладывали об очередном непослушании Ваганова; старший лейтенант бросал другие дела и приказывал немедленно привести строптивого. В казарме раздавался громкий голос дежурного:

— Матрос Ваганов — к командиру роты!

И Ваганов, одиноко сидевший на койке, с еще красными от недавних переживаний щеками, поднимался и шел к эшафоту, чувствуя, что еще немного, и он не выдержит и натворит настоящих глупостей.

Старший лейтенант Горб и командир, доложивший о «попытке», подолгу молчали, разглядывали неслуха Ваганова.

Потом Горб вставал и некоторое время смотрел, заложив руки, в окно, будто и не было в кабинете матроса Ваганова и младшего командира, который не спускал с Ваганова враждебных глаз. Ваганов переминался с ноги на ногу и ждал оглашения приговора. Ему очень хотелось, чтобы приговор не содержал еще и назиданий, а был короток, потому что и ему, и командиру роты, и младшему командиру было ясно, что все беды Ваганова - «от его внутренней недисциплинированности».

Иногда дело действительно оканчивалось коротким, как команда, оглашением наказания, иногда Горб расхаживал по комнате и недоумевал:

— Не пойму я вас, Ваганов. То ли вы вообще странный человек. То ли... Сидит, понимаете («понимаете» — одно из самых часто употребляемых командирами слов в армии, причем произносят они его, привыкнув к нему, так по-своему, что звук этот становится со временем прозвищем командира, «пняете», например),—сидит, понимаете, в вас какой-то бес сопротивления и ничего с ним не сделать. Вы же сами от него страдаете! Так, Ваганов?

— Да,— с неохотой соглашался Ваганов.

— Не «да», а так точно,— поправлял его Горб.

— Так точно,— деревянно повторял Ваганов, невидяще уставившись на старшего лейтенанта, и тот, услышав это деревянное «так точно», спотыкался, останавливался и некоторое время смотрел на Ваганова, словно прозрев...

— Можете идти! — вскрикивал он, стремительно садясь на свой стул и хлопая ладонью об стол; челюсть его шевелилась, дрожала, сдерживая поток слов, которые ему хотелось наговорить Ваганову, но на то он и был командир, чтобы вовремя опоминаться.

Получив эту минутную свободу, Ваганов круто и четко поворачивался и, выходя из кабинета, глубочайше вздыхал.

Но уж если Горб видел настоящее сопротивление Ваганова, он преображался, как охотник при виде дичи. Если поймать Ваганова на настоящем сопротивлении, можно показать ему кузькину мать, да не просто кузькину, а армейскую кузькину мать.

Так было, когда Ваганов начал отпускать волосы— после двух салажьих «лысых» лет. До официального срока не хватало каких-то полутора месяцев, и Ваганов обзавелся прической... если можно назвать прической полуторасантиметровые волосы, впервые чуть подкороченные машинкой сзади и с висков.

Тут надо сказать, что означает прическа в армии. Это, без преувеличения, повышение в ранге — как, к примеру, появление нашивки на погонах. С этого момента ты уже не салага — как звучит это слово, брошенное «старичком» униженному в правах «молодому», да еще с соленой добавочкой, которой старичок окрасит и без того уничижительное слово. Салага настолько ничтожен, что не поймет того, о чем говорят старички, ему нельзя доверить тайны, он не знает жаргона старослужащих и вообще не нюхал пороху! Но если тебя перестали стричь наголо и ты завел прическу, ты — человек, ты сразу поднялся на уровень бывалого

матроса, и никто не смеет уже произнести при тебе слова салага.

На «гражданке» все они кем-то уже были. Кто умел драться, а кто блистал на танцплощадках, кто по-особому свистел, а кто был чемпионом города в спорте, кто хорошо одевался или носил волосы до глаз, кто рано усвоил высокомерие и был опасно язвителен, кто рассказывал анекдоты, легко «хохмил», кто был «приблатнен»...

В армии большинство этих прежних талантов перечеркивалось, и авторитет нужно было зарабатывать с нуля; армейские же таланты — совсем другие...

Да, салаги были нулями, их и стригли «под нуль».

На фотографиях перед армией они все выглядели повидавшими жизнь людьми; первые же армейские карточки показывали лопоухого, перепуганного, с напряженной физиономией и вытаращенными глазами салагу.

Но уж зато к концу службы в фотоаппарат смотрит умудренный жизнью человек, которого трудно чем-то удивить, старый моряк, прошедший огонь и воду...

...Интересно, что первые послеармейские фотографии снова фиксируют и растерянность, и напряженность да плюс к этому вчерашний матрос вытягивается перед объективом (который напоминает ему, очевидно, пристальный командирский взгляд) по стойке смирно...

«Прическа» Ваганова была замечена, о прическе Ваганова было доложено, Ваганов был вызван к командиру роты... Горб расправил плечи, сощурился...

— Почему нарушаете дисциплину, матрос Ваганов?

Прическа до срока была нарушением дисциплины, Ваганов в этой несложной для армии ситуации своевольно уперся: как можно нарушить дисциплину тем, что на твоей собственной голове, которая не есть ни снаряд, ни стереотруба, ни, предположим, рация, появилось чуть-чуть растительности? И, конечно, так и ответил — что не видит тут нарушения дисциплины. И состроил такую мину, что не понимает даже, о каком нарушении идет речь.

— Как это не понимаете! — вскричал Горб.— Что у вас на голове?

— Бескозырка,— нерасчетливо дерзко ответил Ваганов.

— А волосы?! Снять бескозырку!

— Волосы? — не без иронии переспросил Ваганов, снимая бескозырку и проводя ладонью от лба до затылка.

— Кру-гом! — последовала команда.— Прической обзавелись раньше времени? — Горб встал и отчеканил:—Постричься и доложить о выполнении приказания!

— Но... ведь...— заморгал, приходя в себя, Ваганов.

— Повторите приказание.

— Товарищ старший лейтенант...— глаза Ваганова молили о пощаде. Как он не понимал, Горб, что значит для него снова стать салагой!

— Постричься и доложить! — отрубил Горб.— Кругом марш!

Эта команда выполняется автоматически, и Ваганов ее выполнил. Но остался стоять, а не вышел из кабинета, что предполагалось командой.

— Почему стоите?

— Товарищ старший лейтенант... полтора месяца...

— А я вам приказываю: постричься! — мстительно ответил Горб, помня, сколько раз он пытался достучаться к Ваганову, и повторил даже с некоторым наслаждением:—А я вам приказываю: постричься!

— Через час снова стриженный наголо Ваганов, салага Ваганов, стоял перед Горбам.

— Вот так,—удовлетворенно подвел итог эпизоду Горб, разглядывая круглую голову Ваганова так, словно это он сам ее оголил и теперь любуется своей работой.—Вот так!..

В этот вечер Ваганов до самой поверки сидел за казармой на камне и... даже боялся думать о своем городе. Ваганов продолжал свой разговор с Горбом, доказывая тому — долго, толково — свое человеческое право на прическу, вспоминал и другие случаи, когда его логика приходила в столкновение с армейской, и тоже доказывал...

На следующий день Ваганов заступил в караул...

А еще через два дня он стоял перед строем роты; строй шевелился, переступая с ноги на ногу, молчал и смотрел на Ваганова. Маленькое солнце бешено крутилось в сером и пустом небе, разбрасывая каленые лучи. Ваганов стоял опустив голову и смотрел на свою тень, которая шевелилась у ног. Плечи нагрелись, по спине давно уже стекал пот, а командир роты все ходил и ходил перед строем, будто не замечая его, и молчал.

Вот остановился. Прижал руки и крикнул:

— Рота-а-а, смирно!

И — медленно, будто перечисляя проступки: —За сон на посту... матросу Ваганову... объявляю... десять суток простого ареста!

Посмотрел на роту, хотел что-то еще сказать, но, выдохшись, махнул рукой.

— Вольно, разойдись.

Строй расползся, на солнце никого не осталось. Над курилкой, укрытой деревьями, поднялся синий дым. Ваганов

направился было к камню, на котором сидел накануне, но круто повернул и сел в курилке на край скамьи. Достал папиросу и, хоть и были у него спички, попросил прикурить у соседа. Курил, ни на кого не глядя, часто затягиваясь. С появлением Ваганова все на минуту замолчали, потом разговор возобновился.

— Ну что, салага,— повернулся к нему Макоев, дослуживающий последние месяцы,— отхватил губы? — Макоев попал на батарею с корабля и всех без исключения называл салагами. — Что хоть снилось-то— рассказал бы?

У Макоева было две любимых песни — что все здесь салаги, и про то, как была у него одна знакомая: ну, братцы, баба...— не в силах передать впечатления, Макоев только причмокивал.

Ваганов поднял голову... Что-то хотелось ему ответить Макоеву, чем-то отбрить, чем-то защититься... но ничего не получалось.

— Снилось...— хрипло ответил он — это было первое слово за полчаса.

— Салага,— подвел итог Макоев.— Салага он и есть салага,— и покачал даже головой.— Будь ты вот хоть на столько моряк,— Макоев показал кончик желтого от табака пальца,— ты б на штык сел, а не заснул.

— Ну, повело Макоева,— бросил кто-то.— Мы что здесь, не служим, что ли?

— Вы? Вы, братишки... груши околачиваете. У вас тут санаторий, а не служба! Вы в девять баллов в море ходили? А в норд-ост на грот-мачте вахту несли?

Разговор уходил от Ваганова на привычную трепотню Макоева о несравнимом преимуществе моряка перед береговым матросом, о каких-то таких особых качествах его, о каких и мечтать не мог батареец.

— ...у нас один моряк из увольнения опаздывал,— перешел к доказательствам Макоев,— так он что сделал. Разделся, нашел доску, принайтовил к ней шмотки и поплыл. Через всю бухту. Катер-то ушел уже... Подплывает к борту, а часовой у гюйса:— Стой, кто идет? Тот ему снизу орет:—«Салага, я тебе не Христос, чтобы на воде стоять! Кидай конец!..» Поняли, как моряки поступают?.. Так что тебе снилось, эй, Ваганов? Сознался бы, рассказал бы...

Нет, не прошло мимо. Ваганов встал, пошел от курилки. Сзади грохнул хохот — это Макоев что-то добавил.

Плохо, Стас... Ой как плохо!

Скрыться бы куда! Забраться в угол или закутаться в одеяло и укрыться с головой, как в детстве. Зажмуриться до радуги в глазах.

Хоть бы на губу быстрее отправили! После обеда Ваганов ушел на берег.

— Заберите у него карабин и отправьте в роту,— сказал тогда, ночью, командир батареи начкару Коле Мазуру. Они оба стояли и смотрели на Ваганова, который проснулся, наверное, от их взглядов. Он лежал на нарах в убежище под пушкой, куда забрался — знал, что заберется! — сразу же, как только заступил на смену.

Больше Горб ничего не сказал. Начкар подошел, молча забрал карабин, стоящий у нар. Ваганов только успел сесть.

— Идите в роту,— сказал он и пошел вслед за командиром батареи.

Они ушли, Ваганов медленно поднялся наверх. Там уже стоял Кравченко, поднятый из-за него раньше времени.

— Заснул, что ли? — сердито спросил он.—Ну, будет тебе!

Ваганов поплелся в роту. Все, что было до этого, стерто, уничтожено огромным чувством вины. Бушлат казался тяжелым и неуклюжим от этой вины, бескозырка была нахлобучена нелепо и давила и сжимала голову; Ваганов сворачивал с тропинки, как пьяный брел по траве, ломился через кусты, снова выходил на тропинку, останавливался, садился на траву...

Перед глазами были командир батареи и начкар, стоящие у входа в убежище и молча смотрящие на него. Слов же не было. Своих слов не было ни одного. Только комбатовы:—«Заберите у него карабин и отправьте в роту». И Кравченко:— «Заснул, что ли? Ну будет тебе!»

— Отправьте в роту.

— Заснул, что ли?

Да хрен с ней, с прической, хоть до конца службы лысым буду ходить, лишь бы не было того, что будет завтра!

— За сон на посту...

Скорей бы па губу, скорей бы!..

На гауптвахту Ваганова, однако, не отправили— там в эти дни —курорт! —не было свободных мест.

Дни на батарее идут одинаковые. Подъем, туалет, построение, завтрак; подъем, туалет, построение, завтрак... Занятия: все то же изучение все той же матчасти, все то же повторение инструкции: «В случае, если нарушена связь с центральным постом, я, горизонтальный наводчик, обязан проверить оптическое приспособление»...

— Роте строиться на обед!

— Роте строиться на ужин!

— На вечернюю поверку становись!

— Алтухов! — Есть!

— Басов! — Есть!

— Вабишев! — Есть!..

— Отбо-о-ой!

Всю ночь горит у ревуна боевой тревоги синяя лампочка. Рядом с ревуном еще и звонок. По тревоге они включаются вместе. Сон расшибается соединенным этим звуком, как стекло; просыпаешься настолько ясным, что сразу находишь и пуговицы, и дырки для шнурков.

Когда он кончил реветь, все были уже одеты. Комбат (и откуда он взялся?) скомандовал:

— На берегу часовым замечен нарушитель. Разобран, оружие и за мной!

Никакого строя — это была атака. Не помнили, как взлетели к пушкам, к обрыву. Внизу волны шлепались о камни. Там, у воды, за каким-то камнем прячется чужой. Замер или пробирается сейчас, шурша галькой и оглядываясь.

Включили прожектор. Его луч, белый и твердый, скакал по откосам, и темнота за ним казалась непроницаемой. Что-то сверкнуло внизу, и сразу же простучал автомат. Стреляли батарейцы.

Ваганов вдруг сунул карабин Мазуру, с которым рядом бежал.

— Держи,— сказал он,— помешает. И прыгнул вниз.

— Прекратить стрельбу! — заорал Мазур.— Ваганов внизу!

— Прекра-а-а...— послышался голос комбата — в ответ простучал еще один автомат.

Ваганов съезжал в темноту на ягодицах, на спине, хватаясь за сухую траву руками. Потом полетел вниз, но знал, что сейчас врежется в сухую осыпь и съедет по ней. Мягко коснулся осыпи, покатился, зацепился за что-то ногой, его развернуло, он выставил вперед руки, тормозя изо всех сил ногами по песку. Руки ударились в сухой комок глины, но не очень сильно, он остановился. Все. Можно вставать.

— Ваганов! — услышал он сверху.—Ваганов, где вы?

«Ничего, ничего,— про себя ответил Ваганов,— ничего...»

Встал, начал осматриваться. Внизу забелела площадка гальки. Прыгнул. И так и остался в позе прыжка, ожидая нападения. Темнота убегала под скалы.

Ваганов шагнул вперед.

«Ну, где ты?»

Мягко, успокаивающе хлюпала вода, на гальке темнели водоросли. Еще шаг, еще...

Луч прожектора шарил по воде. Ваганов до боли в глазах следил за взрывающимся от света то здесь, то там берегом. А

когда луч исчез, в глазах начал светлеть и расти оранжевый червячок.

Каждую секунду Ваганов ожидал встречи.

«Сидишь где-то, гад. Замер? А ведь боишься! Стрелять не будешь!»

Хватаясь за камни, Ваганов полез выше.

«Видишь меня? Ну не сиди! Иди на меня, иди!»

Под ногой качнулся камень и, перевалившись, скатился вниз. Ваганов упал.

«Салага!»

В темноте рука схватилась за что-то. Глина. Кулак отяжелел. Ваганов встал и, не выпуская глину, пошел.

Скользя, снова падая, ничего не видя перед собой и не помня, он шел, торопился схватиться — пусть с сильным, пусть с вооруженным, пусть с каким угодно,— только покажись, гад!

Сверху посыпалась земля. Ваганов замер, повернувшись к шуму.

— Ваганов! — послышалось сверху.— Это я, Мазур. Ваганов!

— Здесь я,— выпрямился Ваганов.

— Ты здесь? Где ты? Никого нет?

— Нет пока.

— Не будет никого. Ложная тревога. Часовому показалось. Дай руку.

Ваганов только сейчас ощутил глину в кулаке.

— Сейчас.

И, размахнувшись, швырнул ее далеко в воду.

— Грязная рука.

— Ничего, дай, а то я съеду. Так они и поднялись наверх.

— Ваганов,— позвал его комбат,— идите сюда.

Батарея сгрудилась вокруг них. Ваганов соскребывал глину с ладони, все еще напряженный, тяжело дышащий.

— Никого не встретили?

— Никак нет.

— Я уж боялся, что под пули попадете,— совсем не по-командирски сказал комбат.—Ну ладно, Ваганов... Мазур! — крикнул он. — Стройте людей и ведите в казарму!

Пока Ваганов возился у ограды, очищая от глины ботинки, батарейцы собрались в курилке. Курили жадно, жадно разговаривали о происшедшем. Макоев на этот раз сидел молча, ожидая, может быть, когда поутихнут страсти. Вынул папиросу, прикурил от своего же окурка, окурок бросил, проследил дугу огонька и сказал громко:

— Он — моряк, Ваганов. Он—моряк, а вы — салаги.

Курилка было замолчала, потом кто-то все же спросил:

— А ты,— лишь бы не промолчать в ответ,— ты — моряк?

...А между нами, старыми моряками, говоря, нигде так хорошо не думается о доме, как в карауле...

На стене, у которой стоит пирамида с оружием, под самым потолком красными буквами выведено: «Проверяя оружие, целься в потолок». В потолок уже всажена очередь—несколько забеленных известкой дыр разбежалось звездами Кассиопеи. И когда проснешься и, отзевав положенное, оттягиваешь затвор СКС, обязательно посмотришь на них. И вспомнишь сто раз рассказанное: кто-то когда-то нарушил это правило, выпалил в своего товарища и убил его.

Потом, дернув напоследок махорочного ядка и пошевелив плечом, чтобы ладнее приник карабин, делаешь последний вздох и носком ботинка толкаешь дверь.

В третью смену. Третья — ночная.

После теплой, прокуренной и душной караулки свежий воздух покажется морозным—так ударит по ноздрям свежестью.

Над головой качнется небо, полное звезд, уронит одну, она прочертит недлинный светящийся след и погаснет; вдали рассыпаны редкие уже, мигающие угольки городских огней. Вокруг тебя все залито слоем темноты, грудой темноты стоит четвертое орудие.

Под ногами скрипит гравий дорожки. Начальник караула идет впереди, говорить не о чем, но все же кто-то из двоих скажет:

— Ты смотри — июль, а прохладно!

Начкар шагает тяжело, его гравий заглушает все остальные звуки. Ваганову не терпится остаться одному.

Навстречу им раздается окрик:

—

Стой, кто идет?

—

Начальник караула!

Происходит уставной обмен докладами: «...пост номер два сдан», «пост принят».

— Счастливо оставаться! — желает смененный и уходит, живо о чем-то переговариваясь с начкаром.

Ушли.

— Счастливо оставаться! Счастливо оставаться!— долго звучит в ушах.— Счастливо оставаться!

Теперь Ваганов один. Один на батарее, один на всем молчаливом берегу, один под этим огромным небом с медленно плывущими рваными облаками, наедине с ночью, обступившей его со всех сторон враждебными сгустками темноты, которые

могут оказаться и притаившимся врагом.

Ваганов снимает карабин и передергивает затвор, загоняя патрон в патронник. Но и эта мерз кажется ему недостаточной. Слишком много опасностей угрожает часовому. Ваганов замирает и весь обращается в слух. Весь: он слушает напрягшейся кожей лица, открытой шеей, затылком,

Из города доносится ровное гудение, гул, словно город — это работающий мотор.

Где-то далеко залаяла собака. Ей тут же ответила другая. Если лают собаки, значит где-то ктото идет. Кто-то, наверно, возвращается со свидания. Этих нечего бояться. Враг может прийти только со стороны моря.

Ваганов по ступенькам забирается к пушке, от нее—на гребень высокого берега, на бруствер. Делает -несколько шагов по сухой хрустящей траве в сторону обрыва. Вот оно — море. Вылуженное луной, с застывшими волнами, далекое с берега, оно кажется холодным, твердым. Металлически сверкающая его поверхность невелика, остальное тонет в темноте и шумит. Ваганов прислушивается. Море шумит так же ровно, как город, только шум его холодный. Но что это?

— Хлюп! Хлюп! Кто-то идет внизу?

Осторожно, пробуя ногой, Ваганов спускается на шаг. Еще шаг... И смотрит в темноту внизу, где слышится хлюпание. Минута. Другая... Палец на спусковом крючке. Чтобы лучше слышать, Ваганов приоткрыл рот. Ему чудится, что внизу ктото есть. Приседает, хрустнув сухой травиной, и снова замирает. Потом резко оглядывается — вдруг кто-то сзади?

— Хлюп... Хлюп... Тихо.

— Хлюп... Хлюп...

Здесь, на краю обрыва, все чужое. Даже пушки. От напряжения Ваганов не чувствует своего веса.

— Хлюп... Хлюп...

И вдруг Ваганов отшатывается — так неожиданно выпрыгнула из темноты яркая картинка: площадь его города, высокое здание ратуши, часы на ней, красный трамвай, яркий полдень. Еще успел заметить идущую в глубину улицу с трамвайными путями, и картинка исчезла. Погасла. Снова темнота вокруг Ваганова.

— Хлюп... Хлюп...— вода хлюпала на одном и том же месте. Ваганов успокоился и сел. Это прибой. Ленивый, мерный. Хлюпает под камнем. Как будто кто-то идет.

— А?

— Хлюп... Хлюп...

— Вода.— Напряжение упало, Ваганов обмяк, все прежнее

ощущение ночи вернулось к нему.

Посидеть бы сейчас, глядя на мирное ночное небо, но нельзя, может быть ночная проверка, а тебя нет на месте. Ваганов встал, оттянул затвор, нацелив карабин в звезды, потом нажал на пусковой крючок и закрыл затвор.

Ночь не была уже одним живым существом, она разделилась на небо и море, на город, на батарею, где угадывались четыре орудия и знакомые по дню деревца, на окрестности, где изредка взлаивали собаки. Ваганов спустился по той же лестнице с бруствера и встал у стены каземата, прислонившись к ней спиной. Он зажег спичку и глянул на часы: с начала смены прошло всего 27 минут. Впереди было долгих полтора часа.

— Раз. Два. Три. Четыре. Пять...— начинает считать Ваганов. Если даже считать до шестидесяти, то пройдет всего лишь минута. А сколько минут в полутора часах? —90. 90 умножить на 60 это... 5400.— Шестнадцать. Семнадцать...

Ваганов задирает голову и смотрит на звезды, шевеля губами. Звезды голубые, они все время вздрагивают, Ваганов смотрит на них, пока не начинает ему казаться, что они звенят. И тонкий этот звон слышится все сильнее и заполняет голову Ваганова.

—...Двадцать восемь. Двадцать девять. Тридцать...

Вокруг все так же тихо, так же неподвижно — даже ветерок не пролетит, чтобы шелестнуть кустом.

Облака оставили небо, луна светит голо, ярко, она в центре неба; сейчас самая середина ночи, самая большая ее глубина.

И собаки уже молчат, и гул города стал глуше, и моря почему-то не слышно... Как крепко, должно быть, спят сейчас в казарме!

И сразу же Ваганов видит свою казарму: и синюю лампочку у ревуна, и свою пустую койку, и белеющую подушку...

Темнота неслышно подкрадывается к нему, затыкает его уши, тяжелая, наваливается на веки, на плечи, мягко пригибает голову, и та опускается все ниже...

И вместо подушки Ваганов видит страницу книги и читает строчку за строчкой какой-то странный текст—про какие-то крыши, с которых струится вода, про человека, который, не разбирая дороги, шлепает по лужам. И хотя эти «шлеп, шлеп!» на странице, Ваганов вздрагивает и открывает глаза.

— Шлеп! Шлеп!

— Стой, кто идет?!—в испуге кричит Ваганов и делает шаг от стены.

— Командир батареи!

Круг света, бежавший по дорожке, подбирается к Ваганову и вспрыгивает «а бушлат, зажигая пуговицы.

— Ну как, Ваганов, все в порядке? И, не дождавшись ответа:

— Не холодно?

— Никак нет, товарищ старший лейтенант!

Луч смазывает по подбородку и ударяет в стену каземата, оживляя надпись, оставшуюся с войны: «Наше дело правое, мы победим!»

— Ну, стойте.

Уходит. Свет фонарика собачонкой бежит впереди.

Еще пятнадцать минут прошло, осталось же больше часа. Больше часа, и Ваганов обратился к тому, что еще было с ним и над ним, кроме неба и ночи,— к последнему письму, полученному из дома.

Командир батареи, проверив посты, вернулся в часть другой, наверно, дорогой, часовой снова надолго один. Никто больше и ничто не помешает ему, не побеспокоит в этот самый глубокий сокровенный час ночи, луна светит только ему, даже сверчки примолкли... Ваганов шепчет ответ на письмо.

— «Я не люблю писать письма... Может, не умею. Напишу страницу, вижу — не то, и бросаю. У меня их знаешь сколько набралось, начал. Я, когда перечитываю, краснею. Там страшного ничего нет, ты не бойся, там я с тобой говорю, как, помнишь, в тот вечер? Предпоследний. Только больше говорю я — я ведь тогда не все сказал. Не все, понимаешь?

Мне тебя очень хочется видеть! Долго смотреть хочется на тебя. Долго, долго. Все рассмотреть — брови твои, и крапинки в глазах, и губы, и волосы. Я бы взял твою голову руками и все смотрел, смотрел бы на тебя...

Я бы тебе рассказывал, я бы говорил не умолкая— так много накопилось слов для тебя...

Я сейчас стою на посту. Ночь, скоро два часа. Море рядом. А я думаю о тебе, вспоминаю все — до единого вечера, до единой минуты. И последнюю — когда ты вспрыгнула на подножку поезда и мы впервые поцеловались...»

Остановись, диверсант, ползущий вверх по склону к Ваганову! Тебе с ним сегодня не справиться. И ты, шпион, только что стянувший с себя водолазный костюм и оглядывающий высокий берег, остановись! Тебе не пройти сегодня мимо Ваганова! Он охраняет сон своей любимой, чьи губы произносят во сне его имя. Он охраняет — здесь, у моря — свой город, свою юность, свою любовь.

Ваганов шепчет и шепчет строки письма, прекрасного, как Песнь песней, легко произнося слова, так и не произнесенные там, на вечерней улице, на памятной скамейке, и, может быть, даже звезды слышат сегодня эти сигналы, идущие с земли, и

понимают их, и узнают по ним, что землю населяют мыслящие и, главное, любящие существа.

Снова бегут по небу косматые облака с рыжими дымными краями, бегут откуда-то толпы беженцев, безостановочно, спешно, не обращая внимания на луну, одиноко и растерянно стоящую на дороге, бегут, вселяя тревогу в сердце Ваганова, тревогу и ответственность. Он один этой ночью стоит на посту, один вслушивается в далекий шелест облаков, занявших все небо. Он снова оттянул затвор и готов поднять свою роту по тревоге, он даже хотел бы этого...

Но молчат кусты, молчит сухая трава, на которой днем белыми мелкими цветами висят крохотные кувшинчики улиток.

Днем... а сколько еще осталось?

22 минуты осталось Ваганову стоять на посту, 22 круга секундной стрелки, 1320 шагов по скрипучему гравию, пока не увидит в темноте прыгающий свет фонарика, пока не услышит шума шагов и не крикнет:

— Стой, кто идет?

И через каких-нибудь десять минут после этого он будет лежать на нарах, замелькают в его закрытых глазах то косматые облака, то прямоугольник письма на койке, то высокая ратуша с часами наверху, ярко освещенная солнцем, потом он увидит страницу своего письма и будет читать строку за строкой, пока страницу не зальет темнота...

А без пятнадцати шесть его снова толкнут в плечо, он вырвется из небытия и услышит голос начкара:

— Вставай! Твоя смена.

И, выйдя на свой пост, зажмурится от солнца и снова увидит старую стену каземата у четвертого орудия с облупившейся надписью коричневой краской: «Наше дело правое, мы победим!», кусты, сбросившие темные свои одежды, а когда поднимется на брустверь, его подхватит свежий и теплый утренний ветер и — шаг — откроется широкий размах моря в искрах солнца, синего вдали и зеленого у их батареи, словно только что проснувшегося, уже покрытого бесчисленным стадом волн, бегущих, спешащих к берегу.

Ваганов вспомнит свое ночное письмо, и его бросит в жар, он застесняется письма и даст себе слово тут же, в караулке, написать другое...

Небо над батареей снова высокое, чистое; проснулась казарма и там уже разносится команда старшины; город вдали за бухтой по-лебединому бел, свеж, словно только что поднялся из моря; смешными кажутся Ваганову его ночные страхи и торжественность мыслей... самое время сказать, что утро-то

вечера мудренее.

Так ли? Так ли?

Когда Ваганов приехал в свой город в первый отпуск, его любимой не было там, на какое-то время она уехала. Не встретится он с ней и когда, отслужив положенное, вернется домой в «долгосрочный отпуск», как официально называется в армии демобилизация; дембель (дмб). И встреча с ней, так часто и ясно представляемая, сделается навсегда освещенным островком, какой легко отыскивается на карте памяти.

Может, получи она хоть одно из ночных писем Ваганова, не уехала бы из этого города, дождалась бы... кто знает?

* * *

В один из давних-давних вечеров — в то время мне, студенту, еще не нужны были сапоги-тихоходы— я подумал (мне показалось, открыл), что шагами дано измерить то, что не меряется ни метрами, ни часами. Открытие было сформулировано так:

Любовь шагами
Мерю до утра,
Бродя один
Кварталами ночными...

Я долго не мог в те вечера лечь спать, оборвав ради сна счастливое непрекращающееся чувство любви.

То стихотворение не было дописано, та любовь— и слава богу!—не была измерена. Она вырастала с каждым шагом, с каждым ночным кварталом, пока не стала большой, как город.

И теперь я люблю тот город, его улицы, переулки, запах цветущей акации — запах счастливого свидания, золотые полоски трамвайных путей, убегающих за угол высокого темного дома, фонари, в чьем свете я вижу качание листвы на тротуаре, отчего у меня кружится голова,— все, все я люблю в этом городе!

Еще я полюбил в нем предутренний час, ту короткую пору до восхода солнца, которая состоит из очень немногих вещей:

Из улицы спящей и стука моих каблуков,
Из первого шума листвы — взъерошило ветром каштан,
Из птичьего вскрика спросонок (и снова стучат каблуки),
Гудка парохода из порта, похожего на мычанье коровы проснувшейся,

Дымки, в которую город
пока еще погружен,
Из первого блеска стекла —
Из вечных, короче, вещей.
Поняв, что люблю,
Вдохновенно
Сложил я планету,
Мой дом для меня и любимой,—
Из вечных и прочных вещей,
Увиденных до восхода,
Отмерянных шагом моим...

С тех-то пор и появилось у меня открытие: шаги как мера неизмеримого, шаги как мера всех вещей.

Открытие было при мне, хотя нельзя сказать, чтобы я им пользовался часто или всерьез.

Я... спешил. Спешил во всем, лишь иногда, в редкие минуты ночи или утра чувствуя, что где-то, может быть, высоко надо мной, может быть, среди звезд, отбивается совсем иной ритм, чем тот, в котором я живу.

Я спешил. Спешил потому, что позадержался в армии, и школьные мои друзья далеко обогнали меня, спешил потому, что позже других нашел жилу, которую предстояло разрабатывать.

Я спешил, и иначе, наверное, было нельзя; но прошло время и пришло время — и в один дождливый день я достал с антресоли старые сапоги...

* * *

...Но вот что интересно: сапоги-тихоходы — открытие отнюдь не новое. Оно известно еще со времен Аристотеля (если не раньше), основавшего школу перипатетиков, про-ха-жи-ва-ю-щих-ся. Неспешно меряя аллеи садов Ликея, философ, видимо, излагал ученикам не только готовые мысли, но и те, что приходили в голову в процессе прогулки.

Сапоги-тихоходы были знакомы, вероятно, еще многим, и уж точно, что хаживал в них Михаил Михайлович Пришвин...

Каждая газета в каждом номере сообщает о новых и новых скоростях. «Известия» не так давно опубликовали заметку «Сапоги-самоходы»: «...Это парные устройства с миниатюрными двигателями внутреннего сгорания, укрепляемые на ногах человека... Скорость при той же частоте шагов, что и при обычной

ходьбе, возрастает в полтора раза...»

Я уверен, что в потоке (или в потопе) информации о новинках техники как-нибудь промелькнет заметка, которая будет называться «Сапоги-тихоходы». И в ней многое будет сказано в пользу таких сапог — и какие препятствия можно в них преодолевать, и от какого груза избавляться, ничего при этом не теряя...

Но знаете, что, по-моему, еще надо к сапогам-тихоходам?

Чтобы рядом с тобой, когда ты решил пройтись, был кто-то,— а лучше всего — старый друг.

# ТАКАЯ ДОЛГАЯ ВОЙНА

— Вам куда, молодой человек? — спросила дежурная по этажу у мужчины лет тридцати в замшевой куртке и рубашке без галстука, который спешил обогнуть угол.

Он обернулся, раздосадованный тем, что на него обратили внимание.

— Добрый вечер,— сказал он, словно опомнившись.— Мне в 136-й.

— Только не забудьте — до 23 часов! — крикнула дежурная,

провожая удалявшуюся фигуру взглядом из-под административно сдвинутых бровей.

— О господи! — донеслось из длинного, как пушечное дуло, гостиничного коридора.

Подойдя к 136 номеру, мужчина толкнул дверь, видимо зная, что она не заперта. Вошел, послышался щелчок запираемой двери.

— Ч-черт! — раздраженно сказал вместо приветствия мужчина.— До чего же неприятно проходить мимо дежурной! Так и сверлит глазами!— Он снял куртку и бросил ее на спинку стула.— Здравствуй, Юля.

— Я ей сегодня конфеты отнесла,— тихим голосом, почему-то оправдываясь, ответила женщина. Она сидела на кровати с иголкой в руке над приспущенным чулком.— Вот, порвала чулок. Упала. Ушиблась... Поцелуй, Алеша...— в голосе ее странно сочетались просьба и повеление. Взгляд был напряжен и испытующ.

Алексей наклонился над коленкой, отошел к окну, сел там. Достал сигарету.

— А чулки почему не купила? — критически оглядывая комнату и женщину, спросил он.

— Не успела. Ведь должен был прийти ты... Сколько мы не виделись?

— Недели две.

— Три с лишним! У тебя все в порядке? Алексей хмыкнул.

— Как всегда...

— Я так соскучилась...— Хотела, кажется, спросить: «А ты?», но не спросила, а снова впилась в него сухим напряженным взглядом.— Смотри, что я тебе привезла,— подтянула к себе сумку, лежащую тут же, на кровати, вынула целлофановый пакет с рубашкой.— Примерь. Это Зоя достала... Алексей, мельком глянув на рубашку, бросил:

— Как раз. Спасибо, Юля.

— Тебе не нравится? — а смотрела так жадно, будто боялась пропустить что-то в нем.— Что с тобой?

— Ничего,—пожал плечами.—Ничего со мной. Юля готова была вспыхнуть.

— Да ничего — что ты! Я еще от работы не отошел,— лавировал он.

Что несколько портило Юлю, худенькую пышноволосую женщину с миловидным лицом,— это сухая, пороховая нервность, мгновенно менявшая лицо и лишавшая его миловидности. Она была старше Алексея лет на шесть-семь и любила его последней, а может, и единственной,— отчаянной— любовью. И беда ее была

в том, что она не хотела ничего замечать — того, что видно любому. А если и замечала что-то — не хотела в это верить. Не хотела — потому что поверить равносильно было смерти.

— А вот еще,— Юля держала на ладони инкрустированный деревянный мундштук.— Ты такой хотел?

— Такой, такой,— усмехнулся Алексей.— Только зачем ты...

— Как это — зачем? Помнишь, как ты жалел тот, потерянный?

— Ну и что? Я же сам, в конце концов, мог...

— Сотрудник поехал в Москву, я ему заказала. Ты что, не хочешь? — и уже готова была вспыхнуть.

— Да нет. Я... ну просто неудобно мне: каждый раз ты что-то привозишь.

— Это чепуха,—спокойно сказала Юля.—Но вот о чем я подумала. Ты сказал, что тебе трудно проходить мимо дежурной. А каково мне —ты опять не подумал. Ты даже не спрашиваешь меня ни о чем.

— Я не успел!

— Хоть бы раз спросил — каково мне в этой гостинице. Каково мне...

Он повернулся к ней и молча, пристально смотрелна нее несколько мгновений. Юля поежилась.

— Не люблю, когда ты на меня так смотришь,— только и сказала она.

— Ты на три дня? — спросил Алексей.

— Да. Семинар.

— А дома?

— Он молчит, а Валерик все спрашивает — почему я в последнее время так часто уезжаю. Я ему показывала твою статью в газете. А он знаешь о чем спросил? Пишешь ли ты про собак. Так и спросил: а про собак он пишет?

— Про собак,— усмехнулся Алексей.— Нет, не пишу. Я пишу про коров. И про коровники...

— Ты устал?—догадалась Юля.

— Намотался. Попусту гонял три дня по району.

— А что?

— Должен был писать об одной передовой ферме. Приезжаю, а ни председателя, ни заведующего нет. Говорят: вот-вот должны быть. Я жду целые сутки — нет. В конце концов, ловлю их в райцентре— на совещании. Их там... как раз прорабатывают за неправильные методы работы. Звоню в редакцию: может, мол, вот так и написать? — Нет, говорят, так нам сейчас не нужно.

— Понимаю.

— Езжу много в этом году. Один раз показалось, что не на автобусе я, а на карусели: будто вовремя не слез... затошнило даже... Захотелось вдруг долго-долго смотреть на что-то неподвижное,— вспомнил о рыбалке: поплавок, круги по воде...

— Ты, по-моему, совсем уж...

— А знаешь,— оживился Алексей,— я ведь, оказывается, пишу про собак! Ну пусть это называется—про собак. Вот,— вытащил блокнот. — Хочешь?

— Ну конечно, читай.

— Тоже был как-то на ферме, кого-то ждал, бродил по территории. Вижу: конюшня. Захожу. Во дворе солнце, а там темно,— я отворил дверь пошире. Лошади —два ряда: крепкие, сытые — повернули ко мне головы. Захрапели, забили копытами. И тут я увидел, Юль: у них стали загораться глаза. Ярко, зелено. А знаешь, на что это было похоже? Нет?— Торжествуя:—На огоньки такси!.. Езжай, мол! Куда угодно, только садись!.. Красиво!

— Да. Неожиданно и... верно.

— Ну вот.— Удовлетворенно захлопнул блокнот.— Вот тебе «про собак»... Да, там же у меня еще «про рыбу»! Из другого, правда, цикла. Был в селе. Разбирался с одним делом в школе. Сидим с директором в кабинете, разговариваем. Вдруг вбегают: товарищ директор, помогите!

А директор —из правдолюбов. Где в селе какая беда — он там. Такой, говорит, у меня человеческий долг.

— Ты говоришь о нем, как о невидали.

— Ты слушай. Кричат: пруд грабят! Директор за шляпу, я, конечно, с ним.

По дороге выясняем: из колхоза пришла машина — четверо мужиков с рыболовной сетью. Хотят завести ее в пруд. А пруд — общественный. В нем всего помаленьку, удочкой рыбу полавливают. Время — май, нерест. Мало того, что грабят, так еще и браконьеры. Представляешь?

— Представляю.

— Прибегаем: у пруда куча народу, крики, а те четверо уже растягивают сеть; шофер — председателев — руководит. На людей ноль внимания.

Мой директор — весь побелел уже — к ним. К шоферу.

На этом «высоком уровне» выясняется: в колхоз, в гости, едет районное начальство. Начальству захотелось свежей рыбки. И вот председатель отдал распоряжение:- завести в пруд сеть...

Юля кивала головой.

— Директор встал на берегу, раскинул руки — не пущу! Белый, как школьный мел.

Начался крупный разговор. Шофер все пытается объяснить

директору «уровень мероприятия»: уж вы-то, мол, должны понять, кому понадобилась рыба! А тот ни в какую, хоть стреляй в него. И люди все плотнее вокруг...

— Ну, это уж свинство,— вставила Юля.— Даже не верится.

Ну, поняли те, что не выйдет — здесь — ничего, поругались, погрозили, свернули сеть и уехали. Идем мы с директором в школу. Вот такие, говорит он, бывают у нас дела...

— И ты оставил это так?

— Целые абзацы в голове громоздились... Дома доложил заместителю редактора. Он мне в ответ: сейчас не время, оставь на потом, как-нибудь используешь...

— И ты больше ничего не пытался сделать?

— Ах ты моя умничка! Ух — тебе бы мое перо! Ну-ка скажи — кому бы ты не спустила? — С издевкой:— Шоферу, разумеется?

— Председателю! Такие, как он... Ироническая улыбка Алексея остановила ее.

— Знаешь, мне с некоторых пор стало жаль тратить себя понапрасну. И ужасно надоело разбиваться на каждой ухабине. А особенно — переть на рожон. Я хочу себя поберечь!

— Для чего?

— Для себя самого! — мгновенно разозлился Алексей.— Для повести! Для романа! — Вскочил:— Я...— Продолжал говорить, жестикулировал, но с какого-то момента Юля перестала его слышать. Смотрела на него широко раскрытыми глазами, замерев, прислушиваясь к чему-то другому — к тому, что происходило внутри ее.

— Ты что? — опомнился Алексей.

— Иди ко мне,— изменившимся голосом позвала она. И опять послышалось в ее голосе повеление, которому невозможно не подчиниться.

Утром, еще в постели, Юля вспомнила историю, которую надо было рассказать Алексею, но как-то не получилось.

Фотограф был маленького роста, суетливый шестидесятилетний раздраженный человек. Он выскочил из темной каморки — дыбом стоящая седая шевелюра, подтяжки, засученные рукава непонятного цвета рубашки, большой кривой нос я большие желтые уши.

— Это вы? — спросил он, сразу выделив Юлю из всех, ожидающих очереди в ателье.

— Я,— оторопело созналась Юля.

— Прошу вас,— сказал он и взбежал по ступенькам в студию.

Юля, мельком взглянув на себя в зеркало рядом с кассой, прошла за ним.

— Садитесь! — скомандовал фотограф, стоя у громоздкого

деревянного аппарата.

Юля села, сощурилась от света, ударившего сверху в лицо, постаралась освоиться.

— Хм,— произнес мастер, мгновенно впав в некую профессиональную задумчивость.

— Что? — забеспокоилась Юля.

— Знаете...— он почесал нос.— Это...

— Что? — опять спросила Юля.

— Подождите.—Мастер подошел к боковому экрану и подвинул его вперед. Вернулся к аппарату. — Поднимите чуть голову, — командовал он.— Нет, много. Вот так. Наклоните вправо. Хм... Вы можете улыбнуться?

Юля послушно улыбнулась. Фотограф покачал головой.

— Это не улыбка.

Юля подняла было брови, но смирила себя и попробовала улыбнуться еще раз.

— Нет, нет! — почти испуганно закричал мастер.— Извините, но это тоже не улыбка!

— Что такое?! — вспыхнула Юля.

— Заменитель! Заменитель! — Фотограф тут же, однако, опомнился и извиняюще развел руками: он не виноват, что ее улыбка — заменитель.— У вас хорошее лицо,— начал объясняться он.— И должна быть хорошая улыбка. Но где она? — снова вскричал он, впадая в привычный для себя раж.— Где? Куда люди девают свои улыбки, когда оказываются на людях?

Он снова опомнился. Виновато улыбнулся.

— Вы не торопитесь? Два слова... Мы, фотографы, рано или поздно начинаем узнавать человека без документа, без телефонного звонка. Вот вы, например, начальник. Почему? — Он задавал вопросы вместо нее.— Я вам скажу. Пост, должность— это как скульптор. Он лепит человека... Вы не обижаетесь?

— Нет, отчего же. Говорите.

— Пост лепит человека. Со временем в нем появляется что-то такое...

— Разве во мне оно уже есть?

— Вы отдаете распоряжения,— продолжал развивать мысль мастер,— это накладывает на вас отпечаток. С некоторых пор вы не терпите возражений — и это отпечаталось. Кто-то с вами спорит, пусть даже правильно — вы считаете такого человека упрямым, неприятным,— и даже не замечаете, как ваше лицо каменеет при разговоре с ним. Каменеет — вы понимаете? Становится каменным, как у скульптуры.

— Я не думала, что фотографы так наблюдательны,— только и сумела сказать Юля.

— Работа!

— И никак не думала,— приходя в себя, проговорила Юля,— что попаду под такой рентген.

— Извините,— опомнился фотограф,— извините! Просто мне понравилось ваше лицо! Извините! — попросил он прощения и за это.—У вас есть еще минута?— Не дожидаясь ответа, мастер прошел за спину Юли и вернулся с большой фотографией в рамке.

— Я вам говорил — я ценю настоящее. Посмотрите внимательно.— Мастер обеими руками держал портрет плачущей девочки.— У нее слезы,— он высвободил правую руку, чтобы помогать ею рассказу,— спелые, как виноград.— Рука его взлетела вверх.— Это не какие-нибудь скучные мутные слезинки, это прекрасные яркие слезы, полные горя! Мы с вами понимаем, конечно, что это за горе... Посмотрите! Вам нравится?

Юля кивала, улыбаясь.

— Но знаете, что произошло? Я повесил эту фотографию на витрину. И вот приходит ее папа и говорит, чтобы я снял ее. Почему?! Потому,— говорит он.— Ему неудобно: что люди могут сказать о его семье, если девочка так плачет! Так по-настоящему! Вы поняли? Вот какие это слезы! Посмотрите сами! Нет, вы посмотрите внимательно. А? А? — нетерпеливо спрашивал мастер.

Юля подняла на него глаза.

— Вот так! — вдруг вскричал он.— Вот так! Я вас поймал! — фотограф хлопнул по ящику аппарата.— Теперь вы никуда отсюда не денетесь!

— Что? — опомнилась Юля.— Ах вы хитрец!

— Что делать! — довольно улыбаясь и показывая зубы трех сортов, говорил мастер.— Что делать! Не всех же веселить птичкой. А вы не хитрите на своей работе? Чтобы все было хорошо?

Об этом смешном эпизоде и готовилась рассказать Юля Алексею. Она знала, что ему понравится. Но у эпизода было продолжение, о котором хотелось умолчать.

Фотография должна была пойти на стенд работников горисполкома, участников войны. Вчера, перед отъездом, ее вызвал председатель. Только войдя в кабинет, она увидела на столе стопку фотографий и все поняла. Впрочем, если сказать точнее, уже в ателье она знала, что с этой фотографией не все будет ладно.

Кивнув Юле, Николай Федорович расписал завтрашнюю ее командировку: семинар, ее выступление, напомнил, к кому надо зайти, куда позвонить, о чем напомнить, кому передать личный

привет. Когда же его рука легла на стопку фотографий, Юля чуть напряглась — попыталась угадать, что скажет Николай Федорович о ее фотографии.

— Еще один вопрос,— гладко начал председатель, но вдруг замолчал. Он рассматривал ее фотографию. — Понимаете... — Николай Федорович подыскивал нужные слова и не находил.

— Понимаю,— неожиданно пришла на помощь Юля.— Я снимусь еще раз.

— Так-то лучше, Юлия Викентьевна,— обрадовался председатель и даже улыбнулся оттого, что сложная ситуация разрешилась так просто. И заторопился высказаться:—А то увидят и скажут: что, мол, за киностудия тут?

— Я возьму ее домой.

— Вот-вот — домой. Дома она будет на месте. Прямо скажу: вы на ней кинозвезда, а не исполкомовский работник, заведующий отделом. Кадр, так сказать, из фильма. Слишком уж, понимаете...

— Я понимаю, Николай Федорович,— поспешила еще раз согласиться Юля.— Я и сама так думала...

— Сфотографируйтесь еще раз,— распорядился председатель.— И знаете, так...—Николай Федорович показал как, и Юля вспомнила разговор в ателье.— Ну, не так, разумеется, — поправился председатель, увидев что-то в ее лице.— Короче, вы сами знаете.

— Хорошо, Николай Федорович,—сказала Юля, подумав, что ей предстоит трудная встреча с фотографом.— Не беспокойтесь.

— А фотография очень хорошая.— Председатель тряхнул головой, протягивая ее Юле.— И как он вас это?.. Или вы сами такая? Не знал, не предполагал...

— Ох, Николай Федорович, давно уж я не такая! Это он меня заставил побыть такой.

— Умеет...— сказал председатель, шевеля уже бровями, переключаясь, видимо, на другое.— Значит, вы все поняли? Тогда до понедельника. Георгию Анисимовичу мой персональный. Скажите: ждем в гости.

— До свидания, Николай Федорович.

Вечером они встретились у дверей гостиницы. От камня стен несло дневным теплом, было душно, время прохлады еще не наступило.

— Здравствуй. Пошли?

— Куда?

— Все равно...— и сам выбрал направление. Шли не в ногу, долго молчали, Алексей что-то

насвистывал, держа руки на груди, был независим, отдален.

— Скажи, ты помнишь, как мы встретились? — спросил вдруг.

— Конечно, помню. В исполкоме. У меня в кабинете. Я как раз Сонина чистила. Ты вошел без спроса, а я его чистила...

— А как именно, не помнишь?

— Обыкновенно...

— Не совсем... Это тебе казалось, что обыкновенно. А я сразу обратил внимание на чистку твою. Хочешь, напомню?

— Напомни.

— Слушай. «Павел... там Петрович!»

— Фомич.

— «Павел Фомич! Как тебе не стыдно! Ну пусть кто угодно, но чтобы ты!..» Я сразу обратил внимание, во-первых, на это «ты». Он ведь старше тебя...

- Ну, мы с ним так давно работаем!

Слушай дальше. «Пусть кто угодно, но чтобы ты! Фронтовик!...» Он сначала готов был сопротивляться, но как услыхал твое «фронтовик», запыхтел, засопел — прижала ты его этим к стенке— не вырваться.

— Так он же...

— Не в этом дело. Я о другом. О том, что всех вас, воевавших, отличает.

— Что?

— Ну, тут двух слов не хватит. Многое. Главное, наверно, мерки. У вас на все прежние мерки. Внешне вы — как все, а чуть копнешь — и на войну наткнешься. А ведь с конца войны — сколько? Семнадцать лет. Есть у меня знакомый — генералмайор в запасе. Я с ним запросто: Пал Василич, Пал Василич, чуть ли не по плечу хлопаю. А чувствую— только терпит. И такая у него иной раз тощища в глазах при виде этих разноцветных, разногалстучных, разнопиджачных штатских! Так бы, наверно, и рявкнул однажды: смир-но! Почему беспорядок? Где командир? Построиться! Доложить!.. А меня бы в первую очередь: р-разговорчики, р-рядовой! Как стоите?

— К чему ты об этом заговорил? — насторожилась Юля.— Может, хочешь сказать, что я такая?

— Ну что ты! — рассмеялся Алексей.— Ты ведь не кадровая. Но тоже, наверно, спросила бы меня при удобном случае: а по болоту ты ходил? С пулеметом?

— Глупости.

— Так ли? Впрочем, ты права: ненужный разговор. Просто я хотел рассказать тебе, что я тогда, в кабинете, о тебе подумал.

— Что?

— Что мне с тобой будет трудновато.

— Ты... разве ты тогда уже знал, что мы будем вместе?!

— А как же! — рассмеялся Алексей.— Ясно, знал. По тебе же все сразу видно!

Юля подняла к нему голову.

— Чего ты от меня сегодня хочешь? Не пойму. Чего ты добиваешься?

Алексей не ответил. Шел, все так же держа руки на груди,— обособившийся, отдалившийся, чужой.

Пройдено еще сколько-то кварталов, сказаны еще какие-то слова, разговор изменился, стал мягче: Юля опять уступила.

— Может быть... может быть... Наверное, ты прав,— говорила она.— Я и сама себя ловлю на этом. Недавно ехала в троллейбусе, задумалась— и вдруг краем глаза увидела окно, оклеенное полосками бумаги. Как в войну, чтобы сохранить при бомбежке — крест-накрест. И я вздрогнула: показалось — война. Не успела от нее защититься, и на какое-то мгновение перенеслась туда. Туда — там бомбежки, солдаты, костыли, хлебные карточки, радио: «От Советского Информбюро...», ужас, холод...

— Знаешь,— разоткровенничалась она,— меня даже запахи переносят в прошлое. Валерик, помню, маленький еще был, придет домой — мокрешенек,—на санках катался. Я его раздеваю, носочки стаскиваю... И как пахнет на меня мокрой— от тела — одеждой,— так сразу переношусь туда. Там костер в снегу, от моей шинели валит пар, я переобуваюсь — с задания пришла, вокруг все свои, даже голоса их слышу... Сколько тебе было в сорок втором?

— Десять.

— Вот ты говоришь — меряем военными мерками... Не знаю... Наверно. Это сильнее нас... Не придирайся, пожалуйста, ко мне. Ты так часто меня осаживаешь, что я уж и не знаю, где я права, а где нет. Конечно, что-то осталось. Но разве это так уж страшно? Да и ведь не начальник мы и подчиненный.

— Не дай бог! — опять засмеялся Алексей.— Я из строптивых, Юля. А таких военные особенно не любят. У них, знаешь, зуд появляется от желания переломить упрямца во что бы то ни стало. Будь я твоим подчиненным, ты б однажды, глядя на меня вот так вот,— показал,— с прищуром, процедила: «Попадись ты мне в партизанском отряде, я б тебя...»

А ты мне как раз там и попался...— Это прозвучало так неожиданно, что Алексей остановился.

— Что ты, Юля?

— Я тебе не говорила. Не знала, как ты к этому отнесешься.

— К чему? Что за фантастика?

— Когда я увидела тебя в первый раз, у меня сердце оборвалось. Понимаешь... ты — это был он. И столько же лет. И все, все — походка, улыбка, голос, взгляд...

— Да кто ж он такой?

— Он... партизан. Я была тогда девчонкой, а ему было столько же, сколько тебе сейчас. Понимаешь? Прошло столько лет — и я снова встречаю его — неизменившегося. И сейчас мне трудно разобраться: ты? он? Я постарела, а когда увидела тебя, показалось: нет. Стареешь ведь не душой— лицом, телом... Когда я с тобой, забываю, сколько мне; кажется — снова семнадцать...

— Вон оно что,— протянул Алексей.— Влюблена была в него?

— Он не знал. Что я? — девчонка. Его все любили. Я только мечтала о нем.

— А где он? Он не...

— Он погиб. Долго шли молча.

— Смотри-ка,—нарушил наконец молчание Алексей,— я и не знал, что кому-то другому обязан твоим вниманием. Неисповедимы пути господни.

Юля остановилась.

— Я устала. Идем назад.

Алексей круто, почти по-военному повернулся.

— Оказывается, ты и тут была верна военному времени...

— Ох, ну что ты? Подумай — в чем меня обвиняешь. Алексей...— остановилась в темноте,— поцелуй меня.

Потребность в ласке приходила к Юле всегда неожиданно — Алексей не всегда был подготовлен к ней.

— О господи,— вздохнул он, но все же прижал ее голову к себе, погладил волосы.— Вот уж тутто ты, как все...

— Как все? Как кто? У тебя кто-то появился?!— резко, кулаками, оттолкнулась от него.

— Вот чудачка! Опять ты... Ну разве можно так?

— А как?! Скажи—как иначе? Я иначе не умею!

— Ты вспыхиваешь, как девчонка. А ты...

— Хочешь сказать, что я старше? Да, я не переменюсь. Тебе не нравится? Не нравится?

— Да!—не выдержал он. — Не нравится! И вообще, знаешь, давай покончим со всем этим. Я давно хотел тебе сказать...

— Что!? Что ты хотел мне сказать?! Ты собираешься меня бросить? — Резко:—Говори!

— Когда-нибудь это должно произойти.

— Боже мой! — схватилась за голову.— Я все время забываю, что ты обо всем уже подумал: когда начать, когда бросить...—

лицо Юли нервически подергивалось.

— Ну вот, ты опять...— протянул к ней руку. Юля отбила ее.

— Собираешься меня бросить? Бросай!

— Говори тише: люди...— На них уже оборачивались.

— А мне наплевать! Ты скажи — зачем тогда начал? Поиграть? Развлечься? Любопытство? Ах да, я чуть не забыла: ты ведь изучаешь людей!

— Ну зачем ты так? Все можно назвать иначе...

— Как «иначе»? Объясни мне — как? Я не понимаю!

— Тише: люди. Пойдем,— он увлек ее со света в темноту. Встали у стены. Он прижал ее к стене, упершись в стену руками.

— Понимаешь...— он оглянулся, боясь, что их разговор подслушают,— понимаешь... у тебя муж, дети... У меня... Нет, я не то говорю. Понимаешь: ты все-таки меришь двумя мерками: да, нет.

— А ты нашел третью? Отпусти меня! Отпусти сейчас же! Боже, в кого я превратилась! Отпусти!—нырнула под его руку. — Я действительно забылась. Какая дура! Я все думаю: что он придирается, боится дежурной...

Алексей остался в темноте. Прислонился к стене, снова сложил руки на груди. Поза не оставляла сомнения: зол, ее слова мало его трогают, сейчас он уйдет, выслушает неизбежное — и уйдет.

Послушай, Юля,— отчеканил Алексей.— Скажи еще одно слово и поставь наконец точку. Не надо лишнего. Вложи в него все свое негодование и презрение...

— Ты...— выдохнула Юля.— Ты... Эх, ты!..— Резко повернулась и пошла.

Алексей закурил, вышел на свет. Затянулся раз, другой — глубоко.

— Ну — все,— швырнул окурок и зашагал в обратную сторону.

Юля вошла в вестибюль гостиницы. Направилась было к лестнице. Сначала быстро, потом замедлила шаг. Ступила на первую ступеньку. Постояла. И, повернувшись, пошла к креслу: села. Руки на коленях, взгляд невидящ.

Встала, медленно пошла к двери. На крыльце остановилась. Увидела фигуру мужчины в белой рубашке, стоящего возле памятника, встрепенулась. Тот стоял спиной. Юля пристально вгляделась в него, напряглась, сделала шаг к нему, другой...

Мужчина обернулся — это был не Алексей!

Войдя в номер гостиницы, села у стола. Отрешенно включила

и выключила лампу. Включила и выключила...

Почти все окна фасада гостиницы светились в этот вечер. Среди горящих и потухших вечерних окон одно мигало: раз — два, раз — два, будто подавая сигнал беды...

Муж Юли был успокоившийся человек. Порожистое русло для него кончилось; он давно уже плыл по широкой с ровным течением воде, не ведая тревог и страха, доверившись ей, не беспокоясь за себя. Да и прошел опасный возраст обоих супругов, и дети уже взрослые...

Этот успокоенный человек сегодня был встревожен.

На диване, под светом торшера, шелестел газетами Иван Артемьевич Шитов. В очках (для чтения), полноват, хотя и не стар; был он в пижаме, в уютных домашних тапках... Что-то, может, и представлял собой в молодости Иван Шитов — помнил себя черноволосым, кудреватым, смуглым,— с возрастом же полысел, отросли щеки, сделался мордат. Сорок три года — можно кое-что и позволить.

Треск разворачиваемой Шитовым газеты походил на гром — что-то не давало ему покоя. Да и читал он с пятого на десятое — только, кажется,

для того, чтобы избавиться от упорно точившей его мысли.

Вышел из своей комнаты сын Валерка.

— Па, я все уже сделал, можно гулять?

— Все ли? — усомнился Шитов.— А что ты ел?

— Котлеты...— Сын был худоба, в маму.

— А макароны? — придирался отец.

— Па, я потом макароны... когда приду.

— Съешь, тогда пойдешь! — отрезал отец и с треском развернул новую газету.

Сына прямо скорчило от вынужденности есть макароны в то время, когда надо бежать играть! Но он поплелся на кухню. Дверь толкнул ногой.

— Я тебе толкну, я тебе толкну! — бросил, не поворачиваясь, отец.

Вдруг шелест газеты прекратился — Шитов чтото услышал. Даже голову приподнял — на лестнице стучали шаги. Скрежет ключа... Шитов сбросил ноги с дивана. В прихожей открылась дверь, щелкнул выключатель. Это дочь.

— Пап,— раздалось из прихожей,— мама не приехала?

— Нет,— снова лег Шитов.

— Вот везет ей,— раздеваясь, говорила дочь,— всюду ездит, на банкетах бывает, икра, крабы, французы,— мне бы так!

— Успеешь еще,— буркнул с дивана отец.

— Ой, успею! Надо, пока молодая, потом-то уже что? Вон

мамка приедет — устала, говорит, и больше ничего. Я один раз с ней была — ни капельки не устала, и мне руку целовали — правда, пап!

— Слышал уже.

— И значков надарили! И сувениры... «Пти презент, мадемуазель...»

Из кухни появился Валерка. Он слышал разговор и успел проникнуться к нему презрением. В руках у него сковородка с макаронами и вилка.

— Бонжур, мадемуазель Натали!

— Ты бы еще с кастрюлей вышел. Спрячься! — скомандовала она Валерке.— Культура... Па, я в кино иду.

— Мама же сейчас придет.

— Пятичасовым автобусом не приехала — значит, на такси... Уже билеты куплены.

С кем идешь? Со Станиславам?

— Ну его. Со Светкой и Юркой.

— А что Стасик? Чем он тебе не угодил?

— Скучно. Он такой точный... как часы. Ничего непредвиденного. Школа — институт — инженер — заведующий отделам... Квартира — машина — двое детей (он даже это запланировал, представляешь?).—Наташка содрогнулась.—Я как услыхала про «двоих детей», думаю: все! Ну и тип!

— Зато спокойный,— неопределенно выразился отец.

— От такого спокойствия — знаешь — повеситься захочешь. Да ни за что! Олька тоже говорит: а что тут такого? Я хочу — чтобы ничего не было известно. Хочу, чтобы как у мамы. Раз — звонят: «Юлия Викентьевна, голубчик, два дня вам на сборы — и в Югославию с делегацией. Все бросайте—надо!» Вот как я хочу!

— Оба что-то вы одно заладили: «Как мама»,— проворчал отец.

— А что,— появился все с той же сковородкой Валерка,— она и в войну партизанкой была, и сейчас...

Тут Шитов взорвался.

— Хватит! — он отшвырнул газету, сорвал очки.— Надоело! Ничего вы не понимаете! У человека должна быть жизнь! Жизнь, — он обвел комнату рукой, и стало понятно, что жизнь, по его мнению, это мир квартиры, совместные вечера, тишь, шелест газет, разговор, телевизор.— Я тоже воевал! И тоже, между прочим,— это он дочери,— инженер и начальник отдела. Думаете, маме это нравится — мотаться? Или, может, мне?! И вы туда же: «Пти презент!» Сейчас же на кухню, Валерий!— Вскочил, показал рукой.— А ты когда сядешь за уроки, Наталья?

— Я уже все кончила, папа,— спокойненько, вразумляя,

ответила Наталья,— еще у Светки,— и сделала бровками.

— «Хочу, чтоб не было ничего известно!» Знала бы ты, что это такое — когда ничего не известно! Ты ведь не знаешь этого! Когда сидишь, как на мине, когда...— Шитов швырнул и очки на диван. — Узнаешь — вспомнишь мои слова!

Валерка появился из кухни.

Па, я все съел. Можно, я пойду?

— Иди!

— Я тоже пойду, пап,— сказала Наталья.

— А не поздно?

— Мне уже шестнадцать,— этаким юридическим голоском ответила дочь.— Я уже не ребенок.

— Это тебе так кажется... А! — Шитов махнул рукой.

Дети вышли вместе. Хлопнула дверь. Ссыпался по лестнице Валерка, простучали торопливые каблучки Наташи. Звуки затихли, Шитов включил телевизор. Подвинул кресло, сел. Звук он убрал; на экране был некто в очках, пишущий на доске формулы и объясняющий их. Шитов его не слушал, но смотрел. Шитов внимал шагам на лестнице, каждый раз поворачивая к ним голову.

Телефонный звонок буквально сдернул его с кресла.

— Да?

В трубке булькал женский голос. Шитов отвечал:

— Здравствуйте. Нет. Еще нет. Сегодня вечером. Нет. Спасибо — прекрасно. Передам.—Раздраженно:— Да нет, все в порядке! Что там с ней могло случиться! Вы думаете, могло? Ну и что, что она женщина! Что вы имеете в виду?.. До свидания.

Озадачен.

— Черт побери... Сел у телевизора.

— Черт побери...

И еще немного погодя:

— Вот дура...

Встал, походил по комнате — обеспокоен.

Подошел к торшеру, стал механически включать его и выключать, то освещая, то погружая в темноту лежащие на диване газеты «Правда», «Известия», «Красная звезда».

Вдруг направился в прихожую. Открыл дверь на площадку, выглянул, прислушался. Пусто, тихо, только в самом низу слышны детские голоса.

— Черт побери...

Вернулся к телевизору, где на экране, широко разевая беззвучный рот, стоял у рояля пожилой певец во фраке. Включил на секунду звук, услышал вопль, резко убрал.

Переключил на другую программу. Там — взрыв, пулеметные очереди, окоп. Стал смотреть. Дал звук — громкий...

И все-таки услышал сквозь шум боя скрежет ключа в замке. Она. Юля. Усталая, безразличная. Заглянула в комнату.

— Здравствуй,— сухо. Сняла плащ, туфли, на него и не взглянула.

У Ивана гора с плеч.

— Устала?

— Чуть жива. Наталья пришла?

— Она в кино. Валерика видела? Я ужин приготовил. Что там новенького? — Как он рад ей был, как суетился!

— Ничего. Семинар, взбучку получила, сидела красная как рак.

— Ужинать будешь?

— Сперва ванну.

— Я подогрею котлеты.

— Не надо — я сама. К нам никто не придет?

— Нет. А что?

— Так просто. Не звонили?

— Подружка твоя,— с неодобрением,— звонила.

— Кто?

— Полина.

— А-а... Больше никто?

— А кто должен был звонить?

— Да никто, что ты ко мне пристал?

Он пожал плечами и снова, на этот раз успокоенно и законно, сел за телевизор. Юля сняла жакет, хотела было повесить, потом, раздумав, взяла его с собой в ванную.

...Шитов смотрел кинофильм.

Юля вышла из ванной в той же одежде.

— Ты почему не переоделась? — оглянулся Шитов.

— Иван, нам надо поговорить.— Юля подошла к столу, оперлась об него рукой.— Дай мне сигарету.— В голосе ее Шитов почуял незнакомое напряжение.

— Ты куришь?

— Да. Снова. Второй год. А ты не замечал?

— Нет. Думал: балуешься.

— — Ничего не замечал?— голос Юли стал еще выше.

— Нет. А что я должен был заметить?

— Что я слишком часто в командировках, не замечал?

Он повернулся, уставился на нее.

— Что я слишком часто болею — это тебе не было заметно? — уже злясь, крикнула Юля.— Ничего не замечал? Нет? Ну и получай —я тебе изменяю!

Иван не шевельнулся.

— Что ты молчишь? Говори! Ну!

— Ты лжешь.— Голос у Шитова стал хриплый, вмиг осипший.

— Нет!! Все правда!! Правда, черт бы ее побрал, правда! —и стукнула кулаком по столу.— Правда!

Он не двинулся с места.

— Это Алексей?

— Да.

— Я думал, ты не допустишь. Думал: пусть, ведь это тоже нужно — флирт, внимание... Думал, не допустишь.— И взорвался: —А ты оказалась сволочью! Уходи! Убирайся!

— Куда? Куда я пойду?

— К чертовой матери! — кричал Шитов.— Уезжай! Чтоб я тебя не видел! — Вскочил — щеки тряслись, размахивал руками, подступал все ближе к ней...

Глянула внимательно, прищуренными глазами, резко повернулась, пошла в прихожую. Взяла сумку, сняла плащ.

— Валерик меня видел,—сказала голосом, отдающим распоряжение.— Скажешь детям, что... что заболела Полина. Что ей очень плохо —я ночую у нее. Завтра... завтра постараюсь в двенадцать быть дома.

— Зачем?

— Будем говорить.

— О чем нам говорить?

— Не теряй головы, Иван.

— Ах ты...

Перестань! — У Юли нервно, болезненно дернулась щека.—И не вздумай проболтаться детям...

— Да ты...

— Я все понимаю, Иван. Все... И спрячь, пожалуйста, от детей свое лицо! — хотела еще что-то добавить, может, даже обидное, но сдержалась. Вышла; прочно захлопнулась за ней дверь.

Шитов пошел по комнате. Попалась под ноги Юлина домашняя туфелька — со злобой пнул ее. Послышался звон разбитого стекла — окно. Кинулся посмотреть.

— Па! — донеслось снизу Валеркино.— Это у нас?

— У нас,— ответил Шитов,— это я...— в отчаянии обернулся, не зная, что придумать, обыскал комнату глазами, вдруг увидел на стене бабочку, невиданно большую и красивую.— Это бабочка влетела, я ее хотел поймать и...

— Ты не порезался?

— Я? — потянулся рукой к острому краю стекла, хотел порезаться, но не решался — отдергивал руку, потом снова тянулся; наконец, зажмурившись, ширкнул рукой по облому. Появилась кровь на ладони.— Немножко! — ответил он сыну.— Не беспокойся! — Сел на стул, сгорбившись, сникнув, смотрел на руку, на кровь. Кровь, накопившись, начала капать на пол. Шитов смотрел, как капает кровь.

В душе его происходило что-то похожее на это, и ему непременно надо было видеть, как из пего, Шитова, вытекала кровь...

Потом встал, пошел на кухню. Смазал рану зеленкой, обмотал бинтом. Вытер в комнате пол. Собрал стекла. Вынес крупные в кухню, возвратился с совком — нетороплив был Шитов, даже замедлен, подробен в движениях, и очень жалел порезанную руку, морщился, если случайно задевал, гримасничал — словно кто видел его,— и на лице была написана боль.

В прихожей раздался звонок.

— А где бабочка? — чуть не с порога спросил Валерик.— Поймал?

Оба оглядели комнату: бабочки не было. Улетела.

Назавтра Шитов, взлохмаченный и небритый, стоял у окна, выходящего во двор. По какой-то инерции, оставшейся со вчерашнего вечера, прислушивался к шумам и шагам на лестнице, поворачивая время от времени к ним голову, хотя двор, по которому должна пройти Юля, виден из окна

весь.

Трагедия Шитова усугубилась: он знал, что будет говорить, но не знал, что делать. Шитов был растерян, неуверен, нервен, зол. Лицо его менялось от каждой новой мысли.

Начал было некий возбужденный круг по комнате, но, вспомнив, бросился к окну: нельзя пропустить появление Юли.

Пошел зачем-то в кухню, зачем-то заглянул в холодильник, но, опять вспомнив, выглянул в окно.

Вот она! Юля!

Тоненькая фигурка, четкий стук каблуков.

Шитов бросился к стулу, сел. Нет, не то! Поспешно лег на диван, заложил руки за голову. Снова — не то! Встал,— растерян. Побежал в кухню, открыл шкафчик. Посмотрел в него, не зная, за что взяться. Слушал приближение шагов на лестнице — и боялся их. Щелкнул замок, открылась дверь. Юля разделась в прихожей. Вошла... Шитов громко захлопнул дверцы шкафчика, вышел.

— А-а, это ты? Сел на диван. Юля молчала.

— Мне все ясно,— продолжал Шитов с прежней угрозой.— Может, ты что скажешь? Добавишь, может?

— Если тебе все ясно, что ж добавлять?— механически отпарировала Юля. Разговор, однако, этим ответом завязался.

— Мне все ясно, только вот неясно, как ты, жена, мать двоих детей, как ты могла? Ты у всех на виду! Да если я пойду...

— Иван, не будь бабой!

— Бабой?! — и вскочил по-вчерашнему яро.

- Бабой! — взорвалась Юля, и посильнее, чем Шитов.—Если ты решил —не тяни канитель! Мне нечего мораль читать — я свой грех получше тебя знаю! Если решил — говори.

Шитов нашел наконец оскорбительное слово: ...валялась там!..— Задохнулся.— В гостиницах, наверно. Он тебя домой не пригласит. Домой он только молоденьких...— Вдруг новая мысль: —А с чего это ты решила признаться? Замуж он тебя берет, может? Или... бросил он тебя? Бросил, да? Ты же стара для него! А я смотрю — что это стала молодиться — костюм новый, прическа, духи! Белье заграничное.—Злорадно:—Значит, бросил? Поздравляю,— вскочил с дивана.— Правильно сделал. Руку ему пожму, когда встречу: так, мол, и надо им, ста...

Юля, качнувшись, вдруг села. Лицо ее посерело, она съехала со стула — обморок. Шитов смолк, смотрел, еще не решаясь броситься на помощь.

Потом рванулся в кухню.

Принес валерьянки, столовую ложку, стакан воды, дрожащими руками налил...

Юля лежала на диване, глаза были открыты, смотрела в потолок неподвижным взглядом.

Шитов сидел неподалеку на стуле. Молчал, глядя на Юлю, не видел ее. Его охватило какое-то наркотическое оцепенение, усталость, которые облегли плечи и лицо, не давали двинуться, склоняли к покорности. Ни мысли, ни чувства в нем — только это оцепенение.

А глаза Юли были сухи. Такими глазами смотрят в потолок приговоренные. Плачут, когда есть надежда; когда ее нет, глаза сухи.

— Ну,— вдруг поднял голову Шитов,— что будем делать?— голос был усталый и безразличный.

Юля не ответила.

— Что будем делать, говорю? — через некоторое время повторил вопрос Шитов.— А, Юля?

И в этом «А, Юля?» было примирение: так оно мягко, снова по-семейному прозвучало.

Юля попробовала ответить, но не смогла — не было голоса; только пошевелила губами.

— Что? — наклонился к ней Шитов.

— Поедем,— еле слышно проговорила Юля.

— Поедем? Куда?!

— На Смоленщину. Туда.

— В леса, что ли? Она кивнула.

— Зачем? — недоумевал Шитов.— Юля, зачем?— тронул ее за плечо. Оставил руку на плече.

Юля повернула к нему глаза—чужие, отчужденные, страшно незнакомые.

Лицо Шитова нависло над ней — в сложной гримасе обиды, сострадания и недоумения, небритое, измученное, некрасивое, но все-таки родное, привычное... Она подняла руку, тронула его щеку.

— Помоги мне, Иван, помоги... Только ты... надо поехать... Туда... Надо...

— Ну, поедем,— согласился он, поднимая брови— Можем поехать.— И весь недоумение.

— Я посплю... можно? — и Юля тут же закрыла глаза.

Звякнул в прихожей звонок. Иван пошел открывать. Сын.

— Чш-ш,— прикладывая палец к губам, сказал отец. —Мама спит. Она не спала целую ночь...

Оба на цыпочках, оглядываясь на Юлю, прошли в кухню.

А во дворе, на асфальтовой площадке, развешивая белье, разговаривали о случившемся у Шитовых две пожилые женщины.

— Слышала — ух и кричал вчера! — кивок на окна Шитовых.

— Кто?

— Да этот, начальницы-то муж.

— Да неужели?

— На нее, видать. Стекло вчера разбил. Она-то выскочила как ошпаренная, а там стекло — дзынь! И сегодня крики.

— Доездилась.

— Вот-вот. Когда много ездят, всегда так.

— И ведь дети, дети ведь!

— Дети. Она, может, считает, что вырастила уже. Самой, видать, захотелось погулять. Одевается, разъезжает, по неделе дома нету —все хозяйство на муже.

— Он-то хороший?

— Да золото — не человек. Ни выпьет, ни на работе не задержится. И ковры выбьет, и в магазин сходит, и с детьми возится — никогда его никаким не видела.

Таких-то всегда и рогатят, золотых. Ох, не говори! Она с ним за дом-то спокойна, вот и разъезжает. А запей он или заведи кого на стороне —ей бы тогда не до дури, некогда было бы хвостом-то вертеть. Вчера и не ночевала даже — выгнал, видать.

— Значит, за дело... Было, значит...

— А сегодня сперва покричал, потом затихло. Ничего не слыхать.

— Неужели простил?

— Да кто их знает? Он-то мягкий, добрый, может, и простил.

— О-ох! Как подумаю о своем. Он ведь все время в рейсах; кто его знает, что там... Раньше-то козел был. Вот и думаю: узнаю — что буду делать? Это ж какой надо быть, чтоб отрезать...

Из подъезда выбежал Валерик, дожевывая чтото на ходу.

— Валерик,— позвала его одна из женщин, сложив лицо в гримасу сочувствия,— что мама — не заболела ли?

— Не. У нее подруга заболела — она у нее была, ночь не спала.

Женщины многозначительно переглянулись. О, как многозначительно и понимающе!

Потом обе дружно наклонились к тазам с мокрым бельем, дружно достали и начали развешивать простыни... Они стояли спиной друг к дружке; слепяще белы их простыни; они влюблены в снежную белизну белья,— руки их ласкают поверхность ткани, одергивают складочки...

Иван сидел на кухне, глядя во двор, на женщин, развешивающих белье.

Мурлыкал, как кот, холодильник.

Тикали часы на столе в гостиной, где спала Юля.

Бесшумны были снующие в аквариуме рыбы.

Не слышно дыхания спящей Юли.

Но во сне ее грохотала гроза.

Гроза застала Юлю посреди необозримо широкого поля пшеницы. Резвился, скакал по полю ветер, валял дурака на пшенице.

Юля побежала, испуганно оглядываясь по сторонам, со страхом смотрела на небо; бежала, спасаясь от грозы. Одна в поле, одна под грохочущим, кажется, на нее одну ополчившимся небом...

Перун бушевал. Он был страшен сегодня — пушечно оглушительны раскаты его гнева; Юля при-

седала даже, накрывая голову при очередном ударе; молнии ослепительно ярки, молнии похожи на выстрелы — по ней...

Юля озиралась — искала хоть какого-то укрытия.

Заметила вдали, посреди поля, дуб и бросилась по пшенице, вяжущей ноги, к нему, под его крышу...

Но вот снова лопнуло небо над ее головой — она увидела, как молния ударила в дуб — он вспыхнул, загорелся свечой.

Юля остановилась, прижав руки к груди; дождь обливал ее,

платье прилипло к телу и по лицу бежали струи дождя...

Она вздрогнула во сне, застонала.

Иван услыхал стон, поднялся, вошел в гостиную. Смотрел на Юлю, смотрел, не трогаясь с места...

Звонок в прихожей заставил его вздрогнуть. Шитов пошел открывать.

— Да здравствует домовитость! — раздалось громкое, чуть приоткрылась дверь.— Я, в общемто, знал, что вы должны быть дома, но все равно рад! — объявил, входя, некто, кого лучше всего назвать Холостяком.— Я к вам с бедой,— сообщил он деловито.

Это был высокий черноволосый с сединой мужчина— из тех, что всегда в галстуке, но не всегда в свежей рубашке. Умница, трепач, бабник, выпивоха. Инженер, ставший таковым, как он говорит, по роковой ошибке. Холостяцтво — его убеждение. Он о нем любит поговорить, эта тема — его конек и выход остроумию.

— Ты не можешь себе представить, Шитов, как мне тяжело! Я в отчаянии...— Гость рассчитывал, кажется, на то, что его услышит Юля,— он поглядывал на дверь гостиной.— Я заметил сегодня страшную вещь...

Тише, Юля спит,— мрачно оборвал его Иван. Аркадий только начал снимать туфли — и остановился.

— Спит? Что с ней?

- С подругой провозилась ночь,—повторил ложь Шитов,— заболела.

- Вот неудача! —не скрывал огорчения гость.

Замешкался, не зная, оставаться или нет.— Ну... ладно,— царственно выпрямился,— принимай ты...

Не рискнув проходить через гостиную, сели в кухне.

Высокомерно и критически разглядывая небритого и поникшего Шитова, Аркадий рассказывал то, что он приготовил, очевидно, для Юли:

— Ах, Шитов, тебе этого не понять, но все равно поделюсь... Сегодня воскресенье, я хотел поваляться... Лежал, читал, зевал... и вдруг, Шитов, краем глаза я заметил в комнате движение...

Шитов вынужденно слушал.

— Движение, Шитов,— странное и страшное! Это было движение пыли — сплошное движение материи сверху вниз. Она спускалась на меня — с неотвратимостью и постоянством радиоактивного распада. Пыль меня погребала, Шитов! Я вскочил. Я испугался! Это был медленный Везувий,— в глазах Аркадия появился театральный ужас.— И я сбежал из комнаты! Я кинулся к вам, Шитов!

— Побелить комнату надо,— механически заметил Шитов.—

Или жениться... тогда не будет пыли.

— Ну, это ты брось! — энергично отверг совет Аркадий.— Жениться для меня — пострашнее пыли. В моем возрасте женятся, спасаясь от одиночества, а я редко бываю одинок.— Приподнял руку, пошевелил пальцами.— Сейчас я тебе расскажу...

Недавно в командировке я шел пешком... ну, скажем, от пункта А в пункт Б. Дорога была рядом с лесом, я подумал, что приятно пройдусь... Но не учел жары. В лесу оказалось неинтересно: душно, сухо, пусто — мертво.

Шитов был погружен в свое.

— И вдруг вижу — на перекрестке дорог уютненькое строеньице — этакая харчевня Трех пескарей. Я спешу туда. Тишина, прохлада. На буфетчице чистый белый халат, у нее милое черноглазое лицо. Я здороваюсь и говорю ей: «Милая девушка, мне еще далеко идти, я очень нуждаюсь в двух спутниках — не в одном, а в двух...» — и смотрю на нее выжидающе.

Шитов поднял глаза на Аркадия: на кой, мол, черт ты мне рассказываешь эту чепуху? Аркадий не захотел заметить укоризны.

— Она, конечно, не сразу понимает меня, хлопает ресницами... потом, сияя улыбкой догадки, наливает мне два стакана вина. И вот я снова иду по пыльной и скучной дороге,— продолжал Аркадий,— но мне уже не скучно. Где там! Я рад: во-первых, тому, что меня так хорошо, так. я бы сказал, талантливо поняли. Рад начинающемуся действию вина... Мне славно думается, мне напевается, мне так хорошо, Шитов, словно я на самом деле с теми, кто мне и был нужен!

Шитов кивал, но неизвестно чему. Рассказ получился, Аркадий доволен. Он подобрел к Шитову.

— Послушай, Иван,— а не пройтись ли нам с тобой? А? Какое-то у меня нынче неопределенное настроение... Давай, Шитов, поднимайся! — и сам поднялся, окончательно решив.— Тебе, я вижу, тоже нужен свежий воздух. Пошли, пошли,— не дал опомниться,— Юля не успеет проснуться.

— Куда идти? — сопротивлялся Шитов.— Зачем?

— Идем выпьем немного. Одевайся.

Шитов колебался — слишком все неожиданно. Он неуверенно тронул небритый подбородок.

— Да ладно тебе! Причешись, надень пиджак, и все. Мы недалеко. Чуть-чуть греха твоей могучей репутации не повредит.

Шли по двору.

— Знаешь, Иван,— и тут не умолкал Аркадий,— я только

недавно понял, что стал инженером по ошибке... Только не вздумай сказать об этом шефу. Я ведь, в сущности, художник...

Шли по улице.

— ...А недавно снова взялся за глину и вижу:

уже не получается. Ушло. А ведь получалось: мне

говорили, что я —талант...

Сидели вдвоем в кафе за бутылкой сухого вина.

...всему свой час,— вещал Аркадий,— и время всякому делу под небесами. Время разрушать и время строить, время отыскивать и дать потеряться...— Разлил вино.— И время выпить... Глотнул вина:

— Ах, какое я вчера пережил красивое огорчение, Шитов!.. Бог ты мой — ну и лицо у тебя сегодня! Ну, все равно —слушай...

Еду из командировки, автобус полупустой, на одной из остановок входит девушка... Я как-то там глянул на нее — оценивая... может, даже игранул бровью: хороша! — и вот она — при наличии пустых мест — садится ко мне...

Нет, нет — плохого не думай, она... она смущена— по-настоящему, неподдельно... Я начинаю разговор. Студентка, была у родителей, возвращается в институт.

Взволнована необычайно. Я не отношу это на счет своей персоны, Шитов, нет. Я был лишь некий мужской силуэт; все дело в ее фантазии. Она что-то там нафантазировала, навоображала — а тут я... этакий Мефистофель...

Шитов поднял на Аркадия горестные глаза — Аркадий их не заметил.

— Едем, болтаем... Приезжаем. Стоим некоторое время на автовокзале... Я ей называю кое-какие книги — она записывает.

И тут к нам подлетает цыганенок. Клянчит «копеечку» — но так неотвязно, так, понимаешь, настырно, что я заподозрил неладное. И тут, Шитов, я вдруг опомнился. Я увидел себя со стороны — себя, молодящегося сорокаслишнимлетнего холостяка рядом с прелестной девушкой. И вмиг понял, почему подскочил к нам этот маленький фининспектор,— взять с меня налог! Мама-физиономистка научила этого дьяволенка, к кому подходить. Я, Шитов, выглядел обыкновенным обольстителем — и с меня причиталось! Ох, Иван, — ох и ах! Понимаешь,— оправдывался Аркадий,— я ведь ничего не хотел; была некая инерция, было приятно смотреть на нее, видеть ее волнение, вызванное своей особой, видеть, как дрожат ее пальцы, когда она записывала мой телефон... А общественность в виде чумазого цыганенка немедленно оштрафовала меня...—Аркадий замолчал, глядя в сторону. Вздохнул, повернулся к Шитову.

— Кто-то, когда я валялся у себя на диване, произнес: «Зайди

к Шитовым». «Почему к Шитовым?» — спросил я. «Там узнаешь», — ответил мне голос. В чем дело, Иван? Кто из вас меня позвал? Уж не ты ли?

Поднял было Шитов глаза на Аркадия, но не выдержал— покатились из глаз слезы...

— Эй, Шитов! — вскричал Аркадий.— Ты что это?! А я-то болтаю. Что там у тебя? Ну-ка выкладывай.

Шитов тер глаза.

— Брось ты... Никто мне не нужен... Это я просто... Нервы...

— Налить? — спросил Аркадий. Не дожидаясь ответа, налил. — Ну вот... а я-то думал, будет мне спутник...

— Я уйду сейчас! — капризничал Шитов.

— Сиди,— спокойно осадил его Аркадий,— тебе высказаться нужно. Умер у тебя кто-то?

Шитов мотнул головой.

— На службе у тебя ажур... Дети здоровы? Шитов кивнул.

— Может... Неужели, Шитов? Юля?

Шитов кивнул, да так и оставил голову поникшей.

— Уходит, Иван?

— Да нет,— подал голос Шитов,— не уходит. Изменила она мне.

Гамма гримас пробежала по лицу Аркадия, пока он не стер их все, крепко проведя по лицу ладонями. Воззрился на опущенную голову Шитова.

— Тогда...— сказал он скорее себе, чем Шитову,— тогда...— Встал и пошел по направлению к буфету.

В кафе зашли четверо парней, заняли соседний
столик.

Аркадий вернулся с графинчиком коньяка.

— Тогда надо выпить коньяку, Шитов.— Разлил в стаканы.— Выпей. Выпей, Иван.

Шитов опрокинул коньяк.

Один из парней подошел к музыкальному автомату, опустил пятак, нажал на кнопку. Шитов начал говорить.

Аркадий слушал то Шитова, то музыку, одинаково кивая головой в ритм не то музыке, не то исповеди Шитова.

Шитов хотел подозвать официанта, чтобы заказать еще вина, но Аркадий не дал: во-первых, потому что напиваться было не в его правилах, а во-вторых — пьяный Шитов? — не дай бог! И он решительно вынул бумажник.

Шитов напиться не успел и на воздухе скоро протрезвел.

— Выложил все,— сказал он,— а теперь жалею.— Тем не менее, этим самым он начал недоговоренный разговор.

— Да...— не к месту ответил Аркадий. Впрочем, он ответил

своей какой-то мысли. Опомнился:— Что ты говоришь, Иван?

— Жалею, говорю, что сказал.

— Брось ты. Это ли главное?

— Как мне теперь — не знаю...

— Господи!

— Тебе-то что...

— Ох, Шитов! Разве ты первый? Или последний?

— Что мне другие! — вскричал Шитов.— Я теперь первый! И последний я!

Аркадий, что шел чуть сзади, приостановился.

— Извини, Иван... Понимаешь, я в свое время выбрал пыль... и сейчас так далек от этого...

— Я ж тебя как человека спрашиваю.

— А я как человек и отвечаю. На мой взгляд, ты должен идти домой. И с миром, с миром.

— Ты что?!

— Домой,— повторил жестко Аркадий,— домой! При всем моем, так сказать, уважении к твоей ситуации, при всей моей мужской солидарности, я тебе говорю: иди к Юле. Ты один, как я, не сможешь— это не для тебя. И Юле одной с детьми нельзя...

— Она, понимаешь... Ну...— затруднился с ответом Иван.— Он-то ее...

— Кто он?

— Да нет,— так и не высказал Шитов той мысли.— В общем, она без меня... Нужен я ей!

— Ну, прощай.

— Пока. Вот...— топтался на месте Шитов. — Ты... молчи об этом. Сам ведь понимаешь...

— Иди, иди, Шитов,— повелел Аркадий,— иди.

— Пока.— Шитов зашел во двор. Аркадий проводил его взглядом.

В купе они были четверо, вся семья. Валерка и Наташа вверху, Юля и Иван внизу: Юля смотрела в окно, Иван сидел с книжкой на коленях, в которую время от времени заглядывал.

В окне то перелесок, то луг, то деревенька, то дорога с машинами перед опущенным шлагбаумом.

— Совсем забыл,— встрепенулся Иван,— Аркадий приходил.

— Когда? — безучастно спросила Юля.

— Ты спала тогда,— многозначительно ответил

Иван.

— Ну и что? — насторожилась Юля.

— Прошлись мы с ним... Пустомеля он, по-моему, твой Аркадий. Пустомеля и... как его... фат, Фат он и больше никто!

Юля обеспокоенно глянула на мужа — что он затеял этим

разговором? Двое сверху прислушивались.

— Па, а что такое фат? — спросил Валерка.

— Это который строит из себя... больше, чем сам стоит,— мстительно ответил Иван.— А сам гроша ломаного... А некоторые,— тут уж появилось и раздражение,— и не видят, что он на самом деле из себя представляет.

— А мне,— заявила Наталья сверху,— Аркадий нравится.

— Дядя Аркадий,— поправил отец.

— Ну, дядя. Он...— поискала Наталья слово,— с ним никогда не скучно. Он... ну, необычный. Интересный.

— Ты от таких... интересных подальше бы держалась!— рассердился отец.— Интересный! Чем он тебе интересный?

— Он много знает. И он... Вот, знаешь, есть такие люди, которые остановились где-то и дальше уже не развиваются и не хотят развиваться...— излагала Наталья едва ли свою мысль.— Время идет, а он стоит там, где остановился когда-то и только и делает, что перебирает старое, а на новое и не посмотрит. Новое — оно не для него. Оно... ересь,— убежденно произнесла она.— А Аркадий не такой.

Дядя Аркадий,— механически поправил Иван.

— Ты что там несешь? — вовсе уже забеспокоилась Юля.— Наташа!

— А что— неправильно? Вот старики, например. Им все новое не нравится. И одеваются, мол, не так, и поют не то, а танцуют — как папуасы! И не старики тоже, бывает...

Иван смотрел не на Наталью, а на Юлю: теперь, мол, видишь?

— Остановись, Наталья!— повысила голос Юля.— Что ты такое говоришь?

Откуда было знать Наталье, к какой опасной, болезненной для отца с матерью теме она приблизилась!

— Кто тебя учит этому? — грозновато уже спросил отец.

— Иван, ну кто ее может учить? — защищала дочь Юля.— Они сами... Ты ведь помнишь, как умничают в десятом классе, сколько среди них будущих гениев, а на поверку — просто петухи.

— Я и сама так думаю,— фыркнула Наталья,— подумаешь!

— Иван,— переключила разговор на другое Юля,— скоро станция—может, что-то надо купить?

— Ма,— свесился с полки сын,— а какая станция?

— Кажется, Волховское.

— Сыроватино,— поправил отец,— пять минут стоим, ты что, хочешь, чтобы я остался?

— Я пить хочу,—сказала дочь.

— И я,—вторил Валерка,— па, купи...

Поезд замедлил ход. Иван, обувшись, вышел из купе. Юля выговаривала дочери:

— Прекрати ты эти многоумные разговоры — видишь ведь: папа раздражен.

— Он раздражен, а я при чем? Что я — молчать все время должна? Скучища!

— Ну хоть об Аркадии не говори — знаешь, что отец его не любит.

— А что с ним такое? Уже три дня не в себе. И ты тоже. Поссорились?

— Немного,— ответила мать.

— Папа не хотел сюда ехать? Пауза.

— Не хотел.

— А почему? Это ты настояла?

— Я.

— Ты здесь воевала, да?

— Да. В сорок втором — сорок третьем.

— Двадцать лет прошло,— сказала Наталья, глядя в окно.

— Ма,— позвал сын,— а там, куда мы пойдем, что-нибудь осталось? Ну, от войны?

— Не знаю. Все, наверное, осталось. Это ведь в самой глуши. Там болота непроходимые, гиблые места... Ой! Где папа?

Поезд тронулся, Юля бросилась к окну. Отворилась дверь купе, вошел Иван с тремя бутылками; две воды, одна пива.

— Чуть не опоздал,— ворчал он,— и сдачи не взял. С двух рублей...

Автобус, напылив, остановился на небольшой площади напротив сельмага. Из магазина вышел дед, приложил руку ко лбу козырьком, остановился рассмотреть, кто приехал. Выпрыгнул из автобуса парень и, не оглядываясь, заспешил по улице. Вышла, обтягивая платье, Наталья, соскочил Валерка, спустилась Юля, показался с двумя чемоданами Иван.

Автобус, пыля, укатил дальше, четверо остались на площади. Деревня словно вымерла. Только дед стоял у магазина, рассматривая приезжих.

Юля направилась к нему.

— Здравствуйте, дедушка!

— Здравствуйте.

— Скажите нам, где здесь живут Валенюки.

— Это Марья-то? Вон там. Покажу. А вы откуда? — Вдвоем пошли к остальным.

— Из Молдавии. Пошли,— обратилась к своим. —Дедушка проводит.

Дед и Юля зашагали впереди.

Дак ты воевала здесь, значит? — перешел уже на «ты» старик.

— Воевала.

Совсем еще девочка была?

— Семнадцать лет.

Помню, помню партизан. Люди о вас говорили много. Потом на вас каратели пошли... Вы и это знаете?

Мы здесь все знаем, все помним. А чем кончилось тогда? Сколько машин понаехало!

— Отступали мы. Гибли... Пробились.

— Гибли,— согласился дед.— Мы после хоронили ваших, там, в лесу... Вот Валенюки, их изба. Знакомая, что ли?

— Нет. В райкоме адрес дали. Мы здесь пожить собираемся.

— А что. Здесь хорошо. Зимой только скучно. А летом здесь хорошо. Воздух... Хоть, говорят, с собой увози. У нас он дарам...

Изба Валенюков была старая, позади избы пруд, наполовину покрытый ряской, над прудам склонились высоченные вязы. Хозяйка стояла у крыльца, всматриваясь в пятерых, идущих к ее избе.

— Гостей к тебе веду, Марья!—издали еще крикнул старик.

— Здравствуйте, Мария Ивановна!—сказала Юля, подходя.— Нас к вам Василий Никанорович послал. Пожить у вас хотим.

— А входите, входите,— заговорила, жадно переводя глаза с одного на другого, хозяйка,— входите, у нас места много, мы с Надей, с дочкой, вдвоем, входите, места нам всем хватит...

Вошли: сени, кухня с громадиной-печью, стол, деревянная длинная лавка у стены...

— ...входите, входите,— не переставала говорить Мария Ивановна,— старшая моя, Нина, значит, в городе живет, а мы с Надей здесь, вдвоем...— Вся она была движение — что-то поправит, что-то переложит с места на место, глянет туда, сюда...

Надя уже стояла в дверях кухни, разглядывая гостей,— хмуроватая, небольшого роста, крепкая девушка лет семнадцати.

— ...ну и Надя уедет, учиться поступит или работать — а я-то как? Дом жалко, отец его еще строил, а что делать?—мимоходом она наводила порядок в кухне: спрятала ухват, убрала полотенце с лавки, смела со стола крошки.— Вот Надя выйдет замуж — может, возьмет мать-то к себе? Возьмешь, Надь?

— Да ну тебя, мам! — ответствовала дочь, все так же стоя на пороге и разглядывая гостей.

— Проходите, проходите в комнату,— приглашала хозяйка, посмотрите. Мы с Надей в маленькой живем, а вы, значит, в

большой будете. А вы откуда? Из Молдавии. А-а... Ну, здесь вам хорошо будет. Магазин, правда, небогат, да ведь корова у меня есть и куры... А в случае чего дак ведь и в город съездить можно... недалеко тут, все рядом... И Наде, значит, будет веселее...

Девушки встретились взглядами и тут же отвели глаза друг от дружки.

— ...вот кроваточка для дочки вашей, а мальчику раскладушку поставим — есть у нас раскладушка, есть, прошлым летом еще ставили... Вашей-то сколько? Шестнадцать. А Наде семнадцать уже. Я-то старая уже, Надя вроде внучка мне,— а ведь дочь. Муж-то пришел с войны раненый, побитый весь, он Надю мне и оставил. Умер он скоро, сильно поранили его на войне. Надю мне и оставил. А сам умер...

— Да вы располагайтесь,— не кончалась ее скороговорка,— здесь и будете жить. Комната большая, поместитесь. С дороги-то устали? У меня здесь прохладно. Вот. И пруд рядом. Купаться можно — ребятишки тут купаются...— Все вроде сделала, выпрямилась наконец.— А я побегу, у меня сено сушится. С Надей мы побежим, а вы располагайтесь, отдыхайте. Комната большая...

— Ма, можно, я на пруд? — спросил сын.

— Успеешь,— сердито ответил отец,— только приехал.

— Об ужине надо подумать,— сказала Юля.— Здесь примус или керогаз?

— Па, а леску мы не забыли?

— У нее огород есть. Огурцы, помидоры... Впрочем, помидоры-то здесь не вызревают. Забыла,— вслух рассуждала Юля.

— Пить хочу,— капризничала Наталья.— Я думала, на море поедем, а тут...— и недовольным взглядом обвела комнату с двумя маленькими окнами, закрытыми со стороны улицы подсолнухами.

Море — это когда все в порядке,— сказал вдруг Иван, доселе молчавший.— А когда наоборот...

Юля резко повернулась к Ивану, но вмиг обмякла.

— Не надо, Наташа,— попросила она дочь,— здесь ведь очень хорошо. Вот увидишь, тебе понравится.

— Ма, можно, я пойду на пруд? — не отставал Валерка.— Я только посмотреть.

— Да иди ты, ради бога! Давайте разберем вещи, переоденемся...

Вечером ужинали — вшестером на кухне. Тетя Маруся нажарила картошки в огромной чугунной сковороде, сделала салат из огурцов и недозрелых желтых помидоров; Иван выставил на стол бутылку «Столичной», сухую колбасу, рыбные консервы,

сыр... Картошки они попросили вдобавок. Тетя Маруся накладывала с удовольствием.

— Дак вы, значит, из Степанова,—узнавала тетя Маруся.— Слыхала я про Степаново, да не была там. Это туда, за центром, в ту сторону,— махала рукой.— А в нашем-то лесу как оказались?

— Через райком,— отвечала Юля.— Просилась. Не хотели сперва брать, мала, мол; да ведь я активистка была, комсомолка... Вот и взяли. А ваш лес — он самый подходящий для нашего дела.

— Подходящий,— вздыхала тетя Маруся и кивала, кивала.— Да, подходящий...

Надя ела молча и только поглядывала на гостей исподлобья.

— И потянуло, значит, сюда,— продолжала расспрашивать тетя Маруся.— А в нашей-то деревне раньше была?

— Наши бывали, а мне не пришлось. В Потылихе была.

— Сожгли ее. Начисто сожгли! Ничего по сю пору нет.

— Так и не отстроили?!

— А кому отстраивать-то? Деревня,— да вы ведь помните, верно,— маленькая. Людей немцы повывезли, побили, избы сожгли. Угольки только и остались от всего,— тетя Маруся поднесла кончик платка к глазам.— Кто остался в живых, как увидел головешки — так в другие деревни и подался.

— Что, еще картошки положить? — заметила она Валеркин взгляд.— Ешьте, ешьте, картошка у пас вкусная...— и продолжала, разговорившись:— А и наша деревня пустая почти. Молодые — те в город уехали, старики — иные за ними, внуков растить. Дома заколотили — продать-то уже некому— и уехали. А кто умер — тоже дом заколочен стоит. А кто и в одиночку живет. Вон как соседка моя — одна осталась. Посмотреть — сердце разрывается. И ждать-то некого, а станет на крыльцо и смотрит на дорогу...— снова поднесла к глазам кончик платка.— Зовет меня: Маруся, идем, мол, чан ко мне пить! Я и иду... Вот Надька-то уедет, как я буду здесь?

— А Нина? — осторожно спросила Юля.— Не зовет к себе?

— Они со свекровью живут. Двух-то матерей им не надо, да и не уживемся мы. Она — то, я— — это. Ох!..

Иван разлил водку в толстые зеленого стекла рюмки, поднял свою.

— Ну, Мария Ивановна, что тут сказать? В таких случаях за одно пьют — за здоровье.

— Правда, правда,— кивала тетя Маруся,— за здоровье. Чтобы деточки были здоровы, чтоб не обидел их кто...

Наталья поглядывала на Надю, та опускала глаза, стыдясь почему-то за мать.

— Тетя Маруся, а вы знаете, где наш лагерь был? — спросила

Юля.

— Л как не знать? Знаю. И Надя знает. Она у меня грибница. А вы-то забыли уже дорожку?

— Столько лет прошло...

— Надя с вами сходит, Надя. Она проводит. Я бы сходила, да скотина не отпустит. А Надя сходит. Кому еще картошки? Ешьте, и салат кушайте...

Ночью блестят от луны, проникающей в узенькое оконце, никелированные набалдашники кровати, часы Ивана на стуле возле кровати, пряжки на туфлях Юли.

Тишина. Пошевелится только в хлеву рядом с домом и вздохнет корова, хрюкнет спросонок свинья. Сверчок. Ровное дыхание Натальи и Валерки.

Ну вот,—раздался в темноте голос Ивана,— приехали... Юля промолчала.

- А что дальше будет?—не отставал Иван. Опять молчание.

— А?

Молчание.

— Ты спишь?

— Нет.

— Что дальше будет, я спрашиваю. В ответ ровный голос Юли:

— Ничего.

— Тебе это зачем — сюда ехать? Тот же ровный голос:

— Надо.

Иван пошевелился, повздыхал.

Юля вытянула руку — рука стала ослепительно белой, мраморной в лунном луче,— взяла часы. Смотрела с минуту; положила на место. Спрятала руку под одеяло.

— Сколько? — послышался голос Ивана

— Полдвенадцатого. Лежали некоторое время молча.

— Так не должно быть,— снова заговорил Иван. Юля и сейчас промолчала.

— Не должно быть. Ты мне чужая. Я тебя... простил, а ты все равно чужая. Так не должно быть. Я хочу знать.

— Что ты хочешь знать? — хрипловатым после долгого молчания голосом спросила Юля.

— Вот хотя бы — зачем мы здесь. А то я вроде провожатого. Так и это меня обижает. Ты, значит, едешь забыться, а я — я! — тебя сопровождаю. Жалеть тебя должен. Интересную роль ты мне подобрала! Думаешь, у тебя есть на это право? Какое — скажи. Нет у тебя такого права, чтобы — так.— В голосе убеждение.— Нет!

Долгая пауза, потом сдавленно:

— Забыться приехала?

— Нет,— ответила Юля,— не забыться. Вспомнить.

— Что?

Опять молчание.

— Что? Для чего? Снова молчание. Потом:

— Иван, не надо... Не надо так, до дна... Оставь что-то мне. Да это и неинтересно. Я ведь тебя тоже не обо всем спрашиваю.

— А ты спроси! Спроси! (в этом, пожалуй, весь он).

— Не хочу. Мне все не нужно.

— А-а, вот ты какая!

— Иван,— говорила, успокаивая,— я обыкновенная. Я виновата перед тобой—дважды, трижды, но все равно не надо меня до дна... Если способен, можешь, помоги мне — не трогай. Ты пойми... не могу же я перемениться в один день...

На этот раз замолчал, словно насторожившись, Иван.

— Что-то ты... каким-то другим языком, по-моему, говоришь... Я раньше за тобой его не замечал... То ты...

— Не мучай меня, Иван! — почти вскричала Юля.— И себя не растравляй. Я устала. Дай мне поспать.

Пробормотав что-то, Иван резко отвернулся.

Юля лежала, глядя на сверкающий под лунным светом никелированный шарик. Шарик светил гипнотизирующе.

Подныривая под кусты лещины, раздвигая малинник, походя срывая самые спелые ягоды, шла по лесу Надя. Следом за ней Юля, а чуть поотстав, Валерик, потом — вместе — отец и Наталья.

— Мама! — крикнула Наталья, остановившись у куста малины.— Ну не спешите вы! Малина-то какая!

— Ее, чем дальше, тем больше будет,— подала голос Надя.— Самая пора.

— А что,— кричал, обирая ягоды, Иван,— не собирают?

— Городские еще не прознали, а нашим некогда. Работы сейчас много.

— А ты что же не ходишь?

— Одна-то я куда пойду!

Юля остановилась, оглядывая лес — высокие зеленые покои и золотые от упавшего сквозь щели в зеленой крыше солнца ветки. Лес был празднично, пышно зелен.

Спустились в низину, по дну которой тек узенький ручеек. Там осока, высокая, по пояс. А змей тут нет? — спросил Валерка. - А гляди под ноги,— посоветовала Надя. Сама она вооружилась палкой, раздвигала траву впереди себя.

— Осторожнее, Валерик, иди след в след за нами,— предупредила Юля.— Иван, и ты тоже возьми палку.

— Еще не узнаете? — обернулась Надя к Юле.

— Кажется... этот ручей я вспоминаю...— неуверенно ответила Юля.— Там дальше сосняк будет? Такой высокий?

— Да. Значит, узнаете понемножку...

— Узнаю...

Поднялись по невысокому склону, исчезли один за другим в лесу. Выпрямилась примятая ногами трава.

На старый пенек взобралась потревоженная людьми змея. Свернулась в кольцо, блестящее на солнце, как металлическое: черный вороненый металл.

Начался сосняк: толстым слоем лежала рыжая хвоя на земле, много сухих веток. Юля и Иван шли теперь рядом.

— Так чего-то боюсь,— проговорила Юля.— Все время кажется, что здесь мины остались. Или чтото еще притаилось...

— А еще вояка... Надя! — крикнул Иван,— а про мины здесь не слыхали?

— Чего? — издалека.

— Мин, говорю, здесь не осталось?

— Не-ет! Были, да убрали! Мама говорила: сразу после войны-ы!

— Давай догоним их,— предложила Юля.

— Грибов здесь должно быть...

— Это в августе, в начале сентября. В июле редки: жарко... Ну, пошли,— и ускорила шаг.

— Смотри — сколько малины,— сказал он, но она не остановилась.

— Тетя Юля! — позвала Надя.— Смотрите: вон справа речка, а лагерь ваш наверху, да?

Они остановились перед подъемом на невысокий холм; лес здесь был — сосны.

— Вон еще малина! — закричал Валерка и устремился наверх.— Наташ, бежим!

— Валерик, осторожно! — вскрикнула Юля.

— Мы там были,—рассказывала Надя,— полшколы ходило, нас партизан какой-то сопровождал. Такой, дядька...

— А как зовут, не помнишь?

— Нет. Он в партизанском отряде рядовым был; рассказывал, как вы здесь воевали. А вам сколько лет тогда было?

— Семнадцать,— Юля, пристально вглядываясь во все, поднималась наверх,— Столько же, сколько и тебе. А он откуда, этот дядька?

— Приехал... К лагерю подходим.

Высоки и величественны здесь колонны сосен, храмовая торжественная тишина стояла в лесу.

Осознав тишину, Юля остановилась. Нащупав ладонью сосну, оперлась на нее. Рука заскользила по стволу. И вдруг ладонь наткнулась на чтото. Посмотрела — острый кончик ржавого осколка, ранившего когда-то тело сосны.

Под зелеными сводами летала птица, вскрикивала, и эхо, отталкиваясь от невидимых стен, металось между соснами.

Юля поискала птицу глазами и не нашла ее.

Кто-то окликнул ее.

— А? — Юля резко обернулась. Нет, тишина. Послышалось. Еще раз поискала ладонью осколок, нашла, потрогала.

Глаза напряженно шарили по земле, подножию сосен в надежде отыскать когда-то виденное, знакомое.

Всполошенно крича, вылетела из куста птица — Юля остановилась испуганно. Застрекотала в ответ сорока...

Юля сделала еще несколько шагов и остановилась— перед ней была полузасыпанная, заросшая папоротником глубокая когда-то яма, в которую провалились сгнившие бревна. Наверняка это партизанская землянка, взорванная, как видно, немцами.

Подняла глаза — вот он, их лагерь. Еще одна такая же яма, и вон прямо из земли дыбится бревно...

Глаза продолжали шарить по лесу, узнавая то искривленную сосну, останавливаясь на ней, то пенек...

Наклонилась, раздвинула рукой куст — ложка... потемневшая, заросшая грязью. Потерла пальцами — что-то нацарапано. Стала видна фамилия: Никульшин.

На мгновение предстал перед ней — неясно—парень в треухе, сосредоточенно обтесывающий топором кол,— Никульшин?

Снова лес.

Толстое, сгнившее, темное от времени бревно.

И снова — так же неясно — увидела она троих в полушубках, сидящих на бревне, занятых едой,— держат алюминиевые миски на коленях и хлебают, переговариваясь.

Увидела — и тут же исчезли они, словно растаяли.

И так же на мгновение увидела (вместо заросшей папоротником ямы) освещенную керосиновой лампой землянку, стол, пожилого человека, сидящего во главе стола, приглаживающего волосы, перед тем как заговорить.

И пропала картинка — я снова перед ней заросшая папоротником яма и нависшие над ямой обломки бревен...

Сделала шаг вперед — громко и сухо треснул под ногой сучок. Выстрелом треснул — Юля вздрогнула, даже отшатнулась, но вслед за этим выстрелом в лесу раздалась гулкая автоматная очередь. Она еще не кончилась, как послышалась другая, а вот еще — справа, слева...

Юля ступила назад, глаза были полны ужаса, оглядывалась затравленно,— а автоматы били уже отовсюду. И со всех сторон раздавались крики немцев, сжимающих круг:

— Holla! Holla! Партизанен — сдавайсь!.. Вдруг кто-то закричал на нее:

— Чего стоишь как чучело! Патроны давай, патроны! Мигом!

Словно сорванная с места этой командой, Юля кинулась вперед. Но это была уже другая Юля: этой другой Юле было семнадцать; и все вокруг стало партизанским лагерем 1942 года, стало зимой, стало сражением. Произошло то чудо, которым иногда награждает нас наше сознание, — чудо возвращения в прошлое.

Юля в шинели, в шапке-ушанке.

Скатилась в землянку и через мгновение показалась оттуда с двумя дисками для ручного пулемета.

— Быстрей, быстрей! — торопил ее пулеметчик. Схватил диски, побежал, пригибаясь. Скрылся за соснами.

Юля осмотрелась. Стрельба охватывала лагерь полукругом. Туда, где разгоралась перестрелка, бежали, на ходу готовя оружие, партизаны.

Прячась за деревьями, стреляя из автоматов, оголтело крича, к лагерю приближались немцы. Их было много. Они шли цепь за цепью.

Партизаны, кто из окопа, кто из-за дерева, повели ответную стрельбу, не давая немцам перебегать от дерева к дереву, останавливая атаку.

Огня со стороны партизан становилось все больше, немцы остановились, ведя перестрелку и лишь изредка пытаясь перебежать простреливаемое пространство. Раздалась команда немецкого офицера— стрельба со стороны немцев стала реже— прицельнее. Атака захлебнулась.

Реже и прицельнее стал и огонь партизан.

Командир и парторг были в одном окопе.

— Потапьев,— позвал командир,— иди-ка сюда. Не может быть, чтоб они с одними автоматами пришли. Сейчас, видать, из минометов гвоздить нас станут. Надо решать...

И тут же рядом ухнул первый взрыв. Разговаривающих осыпало землей.

— Продолжать стрельбу! — высунувшись, закричал командир.— Не дать немцам приблизиться!

Оба присели.

— Все ясно,— сказал командир,— мины. Загвоздят сволочи, а их не достанешь. Ну?

— Ничего не поделаешь...— непонятно ответил парторг.

— Придется отходить, Потапьев,—решил командир. И, жестко:—И немедленно! А то они быстро нас минами посчитают. Передавай команду: отход. Прикрытию держать огонь «на марке», командирам взводов собраться в командирской землянке,

Атака, сорванная быстро организованной обороной, остановилась. Немцы залегли, кое-где даже отошли.

Командиры взводов собрались в командирской землянке.

— Немцев не меньше батальона,—говорил командир.— Автоматы, пулеметы, гранаты, минометы. Окружают. Решение: будем отходить. Пойдем на северо-восток в сторону Измайловки. Они,— показал руками,— кольцо смыкают, да, видать, не дотянули. Першиков, у тебя их нет? Не слыхать?

— Вроде нет,— отвечает Першиков.— У меня ребята не глухие.

— Вот туда и пойдем. Першиков, организуй разведку. Можешь идти. Что, Потапьев?

— Продовольствие под немцами. Не взять теперь. Пустые идем.

— Какое под рукой — захватить. Да... Ну, ладно. Никольчук! Оставишь своих пулеметчиков там, где и стоят, в ельнике на западном склоне. Остальным — отход. Можешь действовать. Кальсин! Где Кальсин?

— У меня землянку разнесло! — крикнул, стоя в дверях и прислушиваясь к стрельбе и взрывам наверху, Кальсин. Снаружи раздался взрыв, посыпалась сверху земля.

— Немцев Гриневич держит?

— Он. В секунду сообразил, что делать. Армия...

— Поможешь Гриневичу, Кальсин,— отдавал распоряжения командир.— Дашь еще двоих с пулеметом. Немцев держать и держать. Прорвутся — десятки у нас лягут. Сам знаешь... Отходим, товарищи. Четвертый взвод — раненых. Идем в направлении Измайловки. Там болото, там немцев не должно быть. Кальсин, передай Гриневичу: с темнотой заслону сниматься. Постепенно... Ну, его учить не надо... Удачи!

Отходили, слыша ожесточающуюся перестрелку за спиной. Отходили в те «ворота», которые не успели закрыть, смыкая кольцо, немцы. Снег был глубокий, шли цепочкой. Раненых несли на волокушах— двух деревцах с кронами, накрытыми плащ-палаткой.

Несли с собой только оружие: ручные пулеметы, автоматы, винтовки. Лишь у нескольких были за плечами, кроме оружия, вещмешки.

Шли, останавливаясь, оглядываясь: там, где они оставили лагерь, не затихала стрельба.

Мины сопровождали их отход: то тут, то там взлетала вверх черная земля, опадала на снег; снег, сбитый с сосен комьями земли, сыпался лавиной. Мины падали беспорядочно: немцы стреляли наугад.

Шли по тропинке, пробитой впереди идущими. Шли не быстро, заученными движениями дальнего перехода, привычно сберегая силы.

Длинная цепочка одинаково идущих людей, словно несущих один груз, одинаково согнувший их.

...Где же она тогда была? Позади кого шла? Кто шел за ней? Побежал Юлин взгляд вперед по цепочке, потом вернулся назад. Словно спрашивая, вгляделась в это лицо, в другое, третье...

Да вот же она! Стоит, сойдя с тропочки, и высматривает кого-то сзади.

За спиной у Юли автомат, на поясе кобура с маленьким браунингом. Шинель, сапоги.

Приближается к ней, идя так же неспешно, так же вооруженная автоматом, с вещмешком за плечами девушка.

— Ты меня, что ли, высматриваешь?—спросила она.

— Тебя,— ответила Юля.— Тебя...— А сама еще раз, словно бы по инерции, заглянула за ее спину.

Ступали шаг в шаг, молчали. Сзади слышна далекая стрельба — то сильнее, то тише, разрывы мин, гранат.

— Гриневич прикрывает? — спросила Юля.

— Да. Его взвод.— И снова пауза, наполненная только скрипом снега под ногами.

- Олещука убили — знаешь? — сказала Нина.

— Знаю... И Приходько.

— Да, миной. Там и остался. Сзади все еще стрельба.

— Когда-то вернемся еще сюда...

— Вернемся ли? — усомнилась Нина.— Мы ж к нашим идем. Командир сказал: наверно, будем пробиваться.

Да ну? К нашим? Правда? — оживилась Юля. - Это что же — конец партизанской жизни?

Господи! Встану под горячий душ — и так и умру под ним!.. Нин, а ты что будешь тогда делать? - Как —что? Воевать. Не в разведке, так санитаркой пойду. В разведку-то там уже не возьмут...

В лесу становилось темнее; даже снег потемнел.

— Стой, Нин. Слышишь? Кажется, кончилось...

Обе остановились. Остановились и идущие сзади них, прислушались.

За спиной была тишина. Протрещала еще одна очередь, но какая-то приглушенная, спокойная, как бы для острастки.

Кто-то из шедших позади пояснил:

— Шабаш. Немцы ночью не воюют.

— Дядя Семен, а наши как там? — спросила Юля, будто дядя Семен, идущий рядом, обязан был знать.

— Догонят — узнаем,— вразумляюще ответил тот.

— Дядя Семен, а с ними ничего не...

— Типун тебе на язык! — сердито оборвал ее дядя Семен.— Гриневич если берется за дело... да и ребята у него как на подбор.

— Дядя Семен, давайте их подождем! — и рванулась даже назад.

— Ты — иди. Здесь тебе не экскурсия. Назарова, возьми над ней шефство: столько километров впереди, а ей бегать хочется. Привал будет, все узнаешь. Шагом марш!

Снова двинулась вперед черная цепочка людей, теряющаяся в уже потемневшем лесу.

Шли, шли, шли как заведенные, похожие в сумраке на тени, почти бесплотные...

Издалека спереди донесся голос:

— Стоя-а-ать!

Команда передавалась по цепи:

— Стоять! Стоять Стоять! Остановились. Это три минуты отдыха.

Кто оперся на винтовку, а кто, качнувшись раздругой, застыл без всякой опоры, закрыл глаза.

Кто прислонился к молоденькой ели, согнув ее, почти лежал.

Этот присел было на корточки, но сосед поостерег:

— Встань!

— А чего?

— Ноги затекут. Потом не выпрямишь.

— Полцарства бы сейчас отдал, только б полежать.

Ты его отвоюй сперва, полцарства-то, а потом лежи...

Девушки остановились у дерева. Прислонились спиной, не снимая поклажи.

— Устала? — спросила Нина.

— Нет. Я до войны в лес любила ходить. По грибы, по ягоды. Километров пятнадцать за день оттопаю —и ничего.

— Еды мы не взяли —ах беда, беда!

— А что — по дороге так никого и не встретим?

— Не дай бог. Каждый дымок стороной обойдем: всюду, наверно, немцы.

— А у меня дома шоколад остался. Целая плитка. Знаешь, кто мне его дал?

— Ну?

— Женя. Гриневич. Он с задания вернулся, подошел— на, говорит.

— Ты же у нас самая маленькая... Ах, какой парень! Была б я покрасивей, ни за что не упустила бы!

Юля молчала.

— Вот как ты была бы — да мои годы—никуда б не ушел!

— Он... он там ведь...— кивнула Юля в ту сторону, где недавно затихла стрельба, где теперь — неизвестность.

Обе прислушались.

— Знаешь,—шепотом сказала Юля, — он мне снится...

— Кто? Женя? Ну —влюбилась. Все! —заключила Нина уверенно.— Все! — то есть нет тебе уже спасения, Юля, ты — погибла. И часто? Снитсято часто?

— Часто.

- Да,—сказала Нина, подводя итог.—Ну и дела: война, а люди все равно люди...

Пошли! — побежала по цепочке команда.

Нехотя отрывались от дерева, продолжали движение.

Темнота. Скрип снега. Все почти уже исчезло в темноте — слышится только скрип снега — равномерный и равнодушный, как жвачка. Кажется, это ночь равнодушно жует людей, вступивших в ее царство.

И вот привал! Костры. Уже совсем ночь, лес глубок, можно не бояться.

Костры раскиданы по большому участку леса. Партизаны греются, сушат кто полушубок, кто обувь, кто портянки; едят...

За этим костром сидело четверо. Нина, Юля, дядя Федор Кузьмичев, хозяйственный мужик лет пятидесяти. В спешке отступления он не забыл ни вещмешка, ни котелка, ни даже саперной лопатки, но... оставил винтовку... Четвертый был — словоохотливый парень Петя.

Девушки жались друг к дружке, уставившись на огонь.

Командир взвода никак не мог решить, что ему делать с бойцом, потерявшим в отступлении винтовку. Вот он опять подошел к костру. Распекал:

— ...хоть бы ее разбило — тогда понятно! Вон — котелок даже не забыл. А винтовку оставил — надо же! Чего молчишь?

— Может, и разбило ее,— надеялся дядя Федор.

— А патроны? Ты ж, наверно, и патроны выкинул? А ну показывай сидор!

Дядя Федор нехотя развязал вещмешок. Командир взвода выкладывал: банку консервов, мешочек с пиленым сахаром, солидный брус сала, завернутый в тряпочку, аккуратно свернутые чистые портянки, теплую рубаху...

— Да тебя раскулачивать надо, Кузьмичев! — изумился командир.— Все есть, только патронов нет!

— Есть,— хмуро отозвался дядя Федор.— На дне они.

Командир запустил руку поглубже, пошарил там, достал одну-единственную обойму.

— Вот, по-твоему, патроны? — потряс обоймой.— По тебе трибунал плачет, Кузьмичев!

— Ежели по-снайперски стрелять, товарищ командир,— втесался Петя,— тогда и пяти патронов хватит.

— Из чего стрелять-то? — саркастически спросил командир. —Из чего? А? — Сказал бы, да девушки мешают...

Все четверо сидели, виновато замерев, будто судили всех, а не одного дядю Федора. Только

Петя не забывал доставать из-за спины ветки и подбрасывать в костер.

— Сколько воюю,— командир совсем не стар, скорее — молод, но как скажешь иначе? — Сколько воюю, а таких бойцов не видал.— Резко повернулся, ушел к другому костру.

Вокруг этого костра все сразу зашевелились. Дядя Федор стал укладывать в мешок снедь и прочее, Петя подкинул новую порцию веток, девушки придвинулись ближе к огню... Но тут снова появился командир.

— Дай сюда мешок! Реквизирую к чертовой матери все! — забрал консервы, отрезал своим ножом две трети сала, из мешочка отсыпал часть рафинада девушкам, остальное сунул в карман шинели.

— Там ребята пулемет перли и автоматы, между прочим, не забыли, а ты — так только о жратве и помнил!

— Зато ребятам есть теперь чем подхарчиться,— опять подал голос Петя,— благодаря Кузьмичеву...

Командир несколько мгновений изучал взглядом Петю.

— Он у меня боец, а не интендант! Это что? — достал очередной мешочек.

— Мука,—не поворачивая головы, безучастно ответил дядя Федор.

— Муку оставляю,— принял решение командир. Встал, ушел, унося в обеих руках еду к своему костру.

— А что с мукой-то делать? — спросил Петя.

— Блины,— тем же голосом ответил дядя Федор.

— Какие блины? На чем? На ладони? Ты еще шутить можешь, дядя Федор?

- На лопатке.

— Ты что, дядя Федор!

— Поживи с мое, да с мое победуй,— рассердился теперь уже

дядя Федор,— дак в ладони щи сваришь! — Рассердясь, он ожил, стал энергичным. Закомандовал:—Возьми котелок, натопи снегу. А вы, девки, сучьев еще наломайте. Да посуше, чтоб без дыму горели!

вот на саперной лопатке, сунутой в жар, печется первая лепешка. Все четверо не спускали с нее глаз.

— Это ж надо,— бормотал будто бы про себя Петя,— вспоминаю отряд, как курорт. Землянки, нары, столы! Баня! Медпункт, парикмахер! По утрам зарядка, на ночь зубы чистили! Не ценили, ох, не ценили! Дядя Федор, может, готов блин?

Дядя Федор на Петины слова не обращал внимания.

— Петя, а наши... они скоро должны подойти? — это Юля.

— Если без раненых, налегке... Должны бы, пора...

— А как ты думаешь...

— Что мне думать! Наши пулеметы до конца били. Вернутся ребята. Ты что — боишься за кого?

— Скажешь тоже! — вмешалась в разговор Нина. —Ты что — сам не болеешь?

— Я-то болею, может, побольше твоего! Женька ведь там! Мы с ним из окружения вместе выходили. Ох, быстро соображает! Раз мы подходим с ним к хутору, думаем, пустой. Вдруг выходят из дома—немцы! Тут Женька мне:—Руки вверх! Как я послушался — до сих пор не понимаю... Поднял— идем; Гриневич вроде ведет меня: автоматом в спину тычет. Немцы, вижу, ждут. Тут Женька шепчет:—«Дойдем до окопа — прыгай!» Тут только я замечаю метрах в десяти окоп... Мы-то шли по открытому пространству... Во как надо соображать!

— Этот вернется,— заметил дядя Федор,— этот— солдат. На-ка,— поднес Юле лопатку,— готов!

Дядя Федор скинул горячую лепешку в Юлины руки.

— Сала только на подмазку и оставил,— сокрушался он, смазывая лопатку куском сала. Передразнивал:— Рек-ви-зи-рую! А что бы он без моего харча сейчас делал?

— Снег бы жарил,— подхватил Петя, наливая из котелка жидкого теста на лопатку.— Совершенно правильно рассуждаешь, дядя Федор!

И вдруг раздалась над костром чья-то веселая скороговорка:

— Тетушка Варвара, меня бабушка прислала: дай сковороды да сковородничка, мучки да подмазочки; вода в печи,— блины хочет печи!

Подняли головы: стоял над ними высокий парень в армейской шинели, в шапке со звездочкой.

(И был это Алексей, вылитый Алексей — только одетый в военное!)

— Женька! — вскочил Петя.—Товарищ командир! Жив! Вернулись! — Хлопнул по плечу раз и другой.— Умница! Садись, нон твой блин печется.

— Иду от костра к костру,— проговорил, садясь на снег Гриневич,— везде по семи молодцов на один блин. А здесь, гляжу,— четверо. Дай, думаю, попрошусь: авось, не прогонят.

— Дядя Федор,— подгонял Кузьмичева Петя,— может, готов блин?

Кузьмичев, ловко перевернув блин на лопатке, ответил:

— Сейчас... сейчас... с пылу, с жару подам... Держи!

— Ну, что там было? — нетерпеливо спросил Петя.

— Если б не пулеметы... Много немцев. Пьяные...— Гриневич отламывал куски лепешки и ел, обжигаясь.

— Пьяные — значит, боялись,— рассудительно вставил дядя Федор.

— Минами он нам кровь попортил. Ух! Ух! Ух!— все ближе, ближе. Ну, думаешь, следующая твоя... У меня окопчик узенький, а то б... Ахнет рядышком, высунешься, очередью дашь — и снова в окоп. А потом за пулемет стал бояться — так и время прошло.

— А кто из наших там?...— дядя Федор не договорил.

— Много, Федор Степаныч. Приходько, Зайнуллин, Новиков — то ли убит, то ли ранен... Трое к нему пробирались — Никифоров, Уланич, Гулов — все легли. Синякина убило — миной. Словцова еле довели... Много.

Замолчали надолго.

— Устал? — участливо спросил Федор.— Поспи маленько.

- Угу. Сейчас, наверно, подъем скомандуют. Нам до утра шагать,— лег на спину. Закрыл глаза.— Всё, партизаны,— сплю. Как на тройке уносит. Пять минут — потом хоть потоп...

Замолчали. Замерли. Треснула ветка в костре— метнулся на ветку Юлин гневный взгляд.

— Юля! — вдруг позвал ее голос Гриневича.

— Что? — ответила шепотом.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать... уже. Восемнадцатый. А... что? Но Гриневич замолчал. Спит. Лицо его неподвижно.

Нина посмотрела на Юлю: понятно, мол, дуреха ты этакая?

А Юля смотрела на спящего Гриневича, словно спрашивая: что он этим хотел сказать?

А потом был переход через большак — ранним серым утром.

Та же длинная цепочка людей тянулась через лощину между лесом и дорогой.

Перед большаком немцами были сделаны завалы—передовой отряд растаскивал деревья, освобождая проход.

И вдруг в морозном плотном воздухе зазвенело, задребезжало: оказывается, вдоль большака, спрятанная в завале, была подвешена проволока с пустыми консервными банками на ней и прочим звонким металлом...

Над большаком, над лощиной протянулись длинные разноцветные очереди немецких пулеметов. Немцы били с двух сторон: по краям лощины были поставлены немецкие сторожевые посты.

Партизаны кинулись назад, в лес.

Пулеметные очереди скрещивались над ними, сталкивались, утыкались в снег, они настигали людей, и те оставались лежать на снегу черными пятнами, похожими на следы громадной птицы...

Партизаны скрылись в лесу, вслед им протрещало еще несколько очередей, и все стихло.

Тот же лес, та же лощина, только тянулась через нее узкая тропочка, только следами гигантской птицы лежали на снегу неподвижные фигуры убитых...

Занимался день, солнце взошло — мутное разлитое пятно в сером мглистом небе.

Партизаны ушли глубоко в лес. Выставив дозор, спали вокруг костров на еловых лапах, прижавшись для тепла друг к дружке. Тишина, только потрескивали костры да кто-то раскашлялся вдруг...

Во сне рука вытянулась к огню — Юля проснулась, отдернула руку, заворочалась. Открыла глаза. Светло и костры вокруг. И вдруг услыхала голос неподалеку:

— Сколько я здесь, а все не могу привыкнуть, что гражданский народ воюет.

Юля повернулась на голос — Гриневич с Петей, голова к голове, лежали у соседнего костра.

— Военной сноровки никакой,— продолжал Гриневич вполголоса,— самых простых вещей не знают. Новиков, как мишень, из окопа торчит, я кричу ему: «Спрячься! — а он точно в ярмарочном тире целится. Тут мина — я в окоп. Потом высунулся, а он уже... Сползает, сползает в окоп, уходит, седая голова, в яму, будто тянет его кто. Ну какой это боец?! И каждая такая вот смерть — мне как нож в сердце: будто я недосмотрел, будто я, солдат, виноват.

— Ты что — считаешь, что мы с тобой плохо воевали— правильно я тебя понял? — Петя приподнял голову.

— Наверно, плохо. Плохо, наверно... Это ведь все — дело армии, наше с тобой,— Гриневич обвел рукой костры, людей возле них,— а не их, так я считаю. А девчонки? Наравне с нами

воюют! Знаешь— прямо вижу иногда в их глазах: что ж ты, армия, защитница наша, сплоховала? Смотри, сколькому народу под ружье пришлось встать...

Юля перевернулась так, чтобы удобнее было слушать.

— Ну,— сказал Петя,— кое-кто на тебя как на героя смотрит.

Гриневич ответил не сразу.

— Герой... Ты шоссе, наверно, с Юлей переходить будешь — присмотри. Не дай вскочить ей — понял? Шкуру с тебя спущу, если не убережешь.

Юля не шелохнулась.

— Есть, товарищ командир,—послушался Петя. И добавил:— И я говорю: красивая девчонка.

Да при чем тут красивая или некрасивая!— рассердился Гриневнч.— Семнадцать ей!

— Восемнадцатый... Ты ж сам говорил как-то:

красивая.

— Балда! Она только жить начинает — а мы ее под пулями таскаем.

— Ладно уж...

— Не «ладно», а «так точно».

— Так точно — балда, товарищ командир, хотя этого слова в уставе и нет.— Оглянулся на девушек, увидел, наверно, Юлины глаза — зашептал что-то Гриневичу на ухо. Смолкли оба, снова лежа голова к голове...

И чуть снова стало темнеть, партизаны были уже на ногах. Гасили костры, готовились в путь, проверяли оружие. Командир отряда отдал приказ:

— Всем отрядом не пройти. Командирам взводов: разбить взвода на группы, распределить питание; выходим из леса широким фронтом, переходим большак в разных местах. Направление — северо-восток.

Одна за другой, почти не видные в темноте, начавшей уже предутренне сереть, пригнувшиеся фигуры партизан шмыгали через большак. Пробирались через завал, в котором сделали проход.

За большаком снова широкая, метров семьсот, снежная, открытая с двух сторон поляна. За ней лес, темная стена леса.

Группа партизан, человек 10—12, ползла через поляну. Ползли, не поднимая головы, как кроты буравя глубокий снег.

Как медленно приближался лес! А утро все светлее...

Юля ползла предпоследней. За ней — Петя.

— Скоро уже? — не терпелось ей.

— Не поднимай головы, если жить хочешь! Передние были почти у самого леса, осталось

каких-то тридцать метров, как двое не выдержали — вскочили, побежали.

Сперва с одной стороны, а через мгновение и с другой протянулась между ними и лесом огненная проволока пулеметных очередей. Наткнулся первый — и упал, другой нырнул в снег.

А очереди уже рассыпались веером по всей поляне, прошивая снег, нащупывая лежащих там людей.

Юле все хотелось поднять голову — посмотреть, но Петя прикрикнул:

— Лежи!

Очередь прошла над ними, ушла вперед.

— А теперь ползи. И не вздумай вскочить, как те.

Ползла, не глядя вперед, прижимаясь к снегу лицом, вжимаясь в него, еле сдерживая желание вскочить и кинуться бегом, бегом, чтоб скорей добраться до спасительного леса...

Ткнулась во что-то головой. Сапоги. Потрогала рукой, дернула: двигай, мол! Ей не ответили. Убит. Оглянулась назад. И сзади тишина.

— Петя!

— Петя!!

— Петя, ты живой? Очередь в ответ.

Не помнит, как очутилась наконец в лесу, за деревьями. Встала. Побежала. Пулеметы сзади все били и били; бежала сколько было сил — все дальше и дальше в лес.

Стало жечь в груди, остановилась, схватилась за дерево. Чуть отдышалась — оглянулась. Лес. Она одна. Снег нетронутый, ни одного следа.

Редкие, приглушенные расстоянием, очереди сзади.

Пошла вдоль предполагаемой границы леса, оглядывая снег, ища следы. Ведь должен же кто-то быть здесь из двенадцати человек!

Следы!

Увидела их, вскрикнула от радости. Побежала по ним, вдруг остановилась: а если следы оставил немец? Стала оглядываться. От голоса вздрогнула:

— Юля! Кто? Откуда?

— Юля! Сюда!

Под деревом сидел Гриневич. Сидел спокойно; руки на коленях, к дереву прислонен автомат.

— Ой, Женя! — бросилась к нему. Бухнулась на колени рядом.— Товарищ командир, извините— я так обрадовалась вам! — Заплакала даже, ткнувшись ему в плечо.— А я уж думала, что одна осталась. Ой, как хорошо!

— Что, никого больше нет?

— За мной Петя полз, его... И впереди кто-то...

в сапогах. Его тоже...

— Вот ведь как! Не выдержали, побежали — и всех — всех! — открыли немцам! Неужели только ты выбралась?

— Не знаю. Может, покричать?

— Нельзя. Ты вот что: встань да походи, посмотри следы.

— Товарищ командир, а вы...— вдруг испугалась, догадавшись,— а вы что — ранены?

— Ранен,— ответил коротко, отрезал.

— Вы ранены?! — и таким ужасом наполнились глаза.— Давайте я вас перевяжу!

— Не суетись. Я все сделал, что нужно,—Обмяк вдруг, лицо посерело. Облизал губы.— Дай снегу.

Юля зачерпнула снегу, поднесла к его рту. Лизнул. Взял губами комочек, пососал. Поднял глаза.

— Слушай,— произнес с трудом,— пойдешь поищешь наших. Потом вернешься ко мне, я скажу тебе, что делать. Оружие есть? Иди. Иди, Юля.

Послушалась. Пошла. Оглянулась.

Он кивнул: иди, иди. Провожал ее взглядом, пока не скрылась за деревьями.

Шла по лесу, зорко всматривалась в снег. Ни следа. Ни звука. Никого. Метров через триста остановилась. Дальше идти было незачем. Постояла, послушала тишину, тихонько позвала:

— Э-эй! Э-эй!

И поспешила назад. Что-то услыхав, остановилась. Спряталась за дерево. Голоса! Немцы!

За деревьями ничего не было видно. Голоса приближались.

И вот очередь из автомата — это Гриневич. И две в ответ — немецкие. И тишина. И снова голоса немцев — возбужденные, на весь лес.

Прячась за деревьями, подобралась ближе. Увидела: двое волокли Гриневича за руки. Живого? Мертвого? Двое, поддерживая третьего, раненого, шли за ними. Еще один стоял, оглядывая лес, держа автомат на изготовку. Постоял, посмотрел, послушал — пошел за своими, все еще оглядываясь, все так же грозя лесу автоматом.

Утихли возбужденные—как на охоте — голоса немцев, в лес вернулась тишина. Как она страшна была, эта тишина!

Надо идти.

Северо-восток — где это.

Боже, какое одинаковое все вокруг! Деревья,

деревья...

Топталась под высокими деревьями, маленькая, в длинной шинели, беспомощная посреди нетронутого снега, смотрела на небо, ища солнце,— не было, потом увидела мох на дереве и вспомнила школьное: мох растет на северной стороне дерева. Выбрала направление (правильно ли?), пошла.

Где-то, может быть, неподалеку, все равно должны были быть свои — только это поддерживало.

Останавливалась, слушала. Даже снимала шапку, надеясь услышать голоса.

Но такая мертвая тишина стояла в этом лесу!

Сперва казалось, что свои близко. Вот стоит пробежать немного — и услышишь их голоса. Она так и делала — метров пятнадцать-двадцать шла быстро, почти бежала. Останавливалась, опять срывала шапку.

Но как страшно было услышать любой звук посреди звенящей и напряженной тишины! Упала с высокой сосны сухая ветка — обернулась резко, с отчаянием, готовая защищаться или хотя бы увидеть, от чего придет смерть.

Лес был враждебен. Вдруг настороженный взгляд замечал качание ветки — всего лишь освободилась от снега,— вскидывала автомат.

Страх приходил полосами. То боялась зверей — видя их за качнувшейся веткой в куче хвороста или сугробе, подозревая, что они прячутся, следят за ней, готовые напасть. Обходила страшные места стороной, косясь на гущину, держась за пистолет.

То вдруг боялась встретить немецкую засаду — тогда шла, прячась за соснами, стараясь не шуметь.

Это походило на игру,— но что было делать девчонке, оставшейся в лесу одной, окруженной страхами войны и одиночеством, с которыми не в силах было справиться ее почти детское сознание?

А когда проходило напряжение страха, чувствовала усталость и голод — тогда брела, еле передвигая ноги, опустив руки, не боясь уже ничего.

Встретив упавшее дерево, садилась, безучастно глядя в одну точку.

Спать захотелось, спать... Глаза сами находили уютное местечко в снегу — улечься бы и закрыть глаза. Даже видела себя свернувшейся на снегу калачиком, спящей... И уже делала было движение, чтобы улечься — хоть на полчасика! — как опоминалась: нельзя! Нельзя: замерзнешь.

И вставала с дерева. И брела дальше.

И вот пришла минута, когда сил больше не было. Даже на то, чтобы сделать шаг. И тут увидела упавшую сосну. Старое дерево

рухнуло недавно, после снегопада, под его корнями чернела яма. Черная земля, значит тепло, вяло подумалось ей. Остановилась перед черной ямой. Подогнула ноги, села, съехала вниз, под корни. На лицо осыпалась с корней земля.

К яме шел человек. Шел медленно, он был ранен. Хромал, правая рука висела плетью. Он шел по следам Юли. Гриневич.

Вот он подошел к яме, наклонился, долго смотрел на Юлю, заметил наконец ее дыхание. Но не стал будить, походил около, собрал сучья, кое-как наломал, действуя одной рукой, развел костер. И лишь когда он разгорелся, стал будить девушку. Присел на корточки, негромко позвал:

— Юля!

Неслышно — только губы шевельнулись — ответила:

— Да.

— Вставай, Юля, я костер разжег.

— Я посплю еще.

— Вставай, Юля! — звал Гриневич настойчиво.— Вставай. Иди к костру.

— Еще минутку...— шептала Юля,— сейчас...

— Вставай, вставай! — повышая голос, звал Гриневич.

— Сейчас... сейчас...

— Вставай! — приказал он.— Вставай!

— Подчиняясь голосу — сомнамбула,—начала выбираться из ямы.

Как хорошо у костра! Юля протянула руки к огню, руки отогрелись, тепло поднялось выше и выше, вот запылало лицо, пододвинула ближе к огню натруженные ноги...

Гриневич сидел рядом, подбрасывал сучья в костер— огонь все больше, все жарче.

— Спать тебе нельзя, Юля,— говорил он.— Не дай бог уснуть, когда устал, на морозе. Не проснешься. Тут идти и идти надо...

— Я пойду,— обещала Юля.— Пойду, пойду. Вот только отогреюсь немножко. Еще капельку отогреюсь и пойду. Правда, спать ужасно хочется.

— Нельзя спать.— Голос Гриневича странно настойчивый.— Нельзя тебе спать. Ты разве не знаешь: если во сне тепло приходит, значит, замерзаешь. А тебе обязательно жить надо.

— Почему мне? — просто так спрашивала Юля.

— Потому что,— Гриневич обернулся к ней и посмотрел в глаза,— потому что я тебя люблю.

— Ой, Женя! — Юля ткнулась лицом в его шинель, счастливая, как только может быть счастлив человек.— Ой, Женя!...

Что-то заставило ее вздрогнуть, Юля стала поднимать голову.

— Женя, а ведь вы ране...

Юля, не открывая глаз, выбралась, отталкиваясь руками, из берлоги. Села на краю, готовая свалиться. Сон еще не оставил ее, она еще ощущала ладонями сукно шинели Гриневича.

Открыла глаза. Мертвая белизна снега вокруг, холодная тишина —и никого рядом! Ни-ко-го!

Юля оглянулась, не веря. Ни костра. Ни Жени, Снился! Он только снился!

Боже, как хочется снова съехать в черную берлогу и уснуть! И не тревожиться ни о чем! Уснуть! Спать! Она проснется!.. Сон кажется таким дорогим, что за него и смертью заплатить — не много. Может быть, как раз...

И Юля поддавалась. Сон наваливался медведем— огромным, тяжелым, душным... Юля сползала в берлогу, сворачивалась калачиком...

И тут же над ямой склонялся Гриневич;

— Ну что же ты, Юля! Тебе нельзя спать! Нельзя, понимаешь?

Снова вылезала из берлоги, сидела, с трудом осмысливая случившееся. Зачем это? Почему? К чему?.. И понимала: надо встать и идти. И начинала тогда плакать, всхлипывать. Как девочка — обиженно, долго, упрямо.

И все-таки поднималась. Шла.

Оглядывалась — казалось, что, каким-то чудом спасшись от немцев, Гриневич идет по ее следам. Останавливалась, вслушиваясь в тишину, надеясь услышать шаги. Даже один раз крикнула негромко, позвала:

— Эй! Эй!

Того, что призывало лечь и уснуть, было больше, чем того, что двигало ее вперед.

Бесконечность леса, бесчисленность деревьев, стоящих у нее на пути, неизменно резкая белизна снега—снег еще и вязал ее шаг, усталость нескольких дней и бессонные ночи, голод — о, как всего этого было много, как достаточно, чтобы согнуться, подчиниться, лечь и уснуть.

Но в уставшем теле, отравленном, пропитанном усталостью до последней клетки, пульсировал какой-то упрямый комочек, который снабжал ее искрами энергии.

Скоро Юля перестала видеть лес — не было больше деревьев, кустов, сугробов, темно-зеленых елей и светлых стволов осин, не было белых и черных ям, не было воздуха, неба — все стало однообразной серой массой, в которой она упрямо продвигалась вперед, в которой вязла, которую преодолевала.

Да и сама она к этому времени превратилась в механизм, способный, пожалуй, только на это, почти инстинктивное

продвижение вперед. Все ощущения ее были погашены, кроме одного — регистрирующего шаги. Еще один, еще, еще...

Притупились чувства голода и холода, ушел страх встречи со зверем, ужас одиночества в огромном лесу оставил ее; в померкшем сознании теплился только огонек движения.

И стоило ей привалиться спиной к дереву и закрыть глаза, стоило только опустить веки, как сознание мгновенно погружалось в темноту. Но в то же мгновение вспыхивала перед глазами картинка, которую память вытаскивала из своей картотеки так же наугад, как ученый попугай —бумажку с предсказанием судьбы.

И столь неожиданна была в темноте эта вспышка памяти, что Юля пугалась — вздрагивала.

...Цирк! Смешной Карандаш бежит по арене, догоняя собачку, падает, спотыкается о собственную ногу,— а собачка хватает его котелок и убегает. Цирк смеялся. Сосед сзади хохотал так громко, что Юля даже оглянулась — разинутый грохочущий рот...

И вдруг издалека раздался знакомый крик:—Пошли!— Мужчина закрыл рот, привел лицо в порядок, даже проверил его рукой, потрогал подбородок и встал. И вся публика встала, направилась к выходу. И Карандаш, заметив, что все встали, вскочил. Одернул пиджак и пошел вслед за всеми... Оглянулся, увидел Юлю, поманил пальцем...

Юля открывала глаза — все тот же черно-белый, теперь, к вечеру, все более сереющий лес.

А в следующий раз, когда она закрыла глаза, увидела пламя: высокое —до звезд. Целая стена пламени. Это горит деревня. Вечер — и красно и желто освещен снег, по которому идет группа партизан. Они уходят, оглядываясь, от зажженной ими деревни, к лесу, к темной его полосе; тени их, отброшенные пламенем, ползут далеко впереди.

Желто и красно освещены сосны, за которыми стоят партизаны. Они глядят на пожар; их лица раскрашены пламенем; пламя словно бы сменяет гримасу за гримасой на их лицах...

А еще у одного дерева увидела она...

...Солнце, солнце, горячее солнце! На земле им обласкано все до последней травинки. Ослепительно блестит река. На песчаном берегу сидит на корточках спиной к ней девушка и плоско хлопает ладонью по воде. Из-под ладони вода выпрыгивает стеклянными шариками, которые катятся по поверхности, как бусинки.

Открыла глаза — девушка не исчезла. Повела взглядом по лесу — взгляд понес по деревьям тающую девушку, реку, солнце, пока не исчезли: остались деревья, снег...

После сказочно ярких и неправдоподобных видений страшно было снова оказываться среди тех же — неизменно тех! — деревьев и снега.

Уже темнело, и она ясно понимала, что еще одной ночи ей не выдержать.

Шла.

И когда уже совсем стемнело, Юля оказалась на широкой просеке. Даже отшатнулась — открывшееся перед ней белое пространство встало стеной. Стена будто опрокидывалась на нее, наваливалась.

Почти рядом с лесом шел санный след. Свежий. Юля потрогала след, сняв варежку.

Кто? Наши? Немцы? И куда идти? Налево? Направо?

Не могла по следам копыт определить направление— тут нужно умственное усилие, а она не была на него способна. Сидела на снегу, глядя на ясный след подковы, и все не могла выяснить, куда же шла лошадь. Злилась на собственное бессилие, даже всхлипывала, злясь. Потом — с трудом — поняла. И пошла по следу из последних сил.

Все больше темнело, надо было спешить. Идти теперь было легче, вот только сил уже не осталось.

Споткнулась — упала. И поползла, не в состоянии встать, плача от обиды.

Из-за деревьев вышла темная фигура с автоматом, голос произнес уставное:

— Кто идет?

Она приподнялась на руках.

— Свои! Здесь я! Партизанка...

Фигура приблизилась. Валенки, полушубок, шапка. Звездочка!

— Ну,— наклонился,— давай руку.

Подняла было, но подломилась другая рука — упала лицом в снег.

— Ох! Да ты, я вижу, без сил. Ну, давай... Подхватил под мышки, стал поднимать...

На солнечной поляне, чуть в стороне от бывшего партизанского лагеря, сидели, дожидаясь Юлю, дети и муж. Иван и Наташа скучали; Иван, нервничая, поглядывал в сторону, куда ушла жена; Наташа разделась и загорала, отгоняя комаров.

Хозяйственная Надя собирала малину в полиэтиленовый кулек. Валерка нашел ржавую саперную лопатку и пытался раскопать завалившуюся землянку метрах в двадцати от поляны. У него было полно трофеев: винтовочный ствол, патроны, осколок мины, котелок... Мать он увидел первый.

Юля медленно шла по лесу, то освещаемая случайным солнечным лучом, то почти исчезающая в зеленом сумраке.

Боже, как много, оказывается, было в ее жизни! Как далеко и как близко, оказывается, была война!

Она подходила к партизанскому лагерю, к останкам его, к кладбищу, похоронившему и хранившему ее прошлое, часть ее жизни, юность, ключ к жизни дальнейшей.

Лес помнил...

— Ма! — закричал Валерка издали.— Смотри, ма!— и потряс ржавым винтовочным стволом в одной руке и патронами в другой.

Беспокойно и вопрошающе смотрел на жену Иван.

— Что так долго? Ответила спокойным взглядом:

— Все в порядке, Иван.

— Мама, скоро домой? — кислым голосом спросила дочь.— Мне уже надоело здесь.

Юля подошла к сыну.

— Ну-ка покажи, что нашел. Это выбрось,—распорядилась, увидев патроны,— опасно. О-о, винтовка!— и вдруг оживилась:— Иван! Может быть, это та самая!

— Какая — та самая?

— Понимаешь,— смешно, конечно, но я вспомнила, что дядя Федор —он тогда рядом с нами шел — потерял здесь винтовку. Сало он не забыл, а винтовку оставил. Ох и ругали его! А вдруг это

она?

— Все вспомнила?

— Все, Иван.— Притронулась к его руке.— Спасибо.

— Мам, а что это за винтовка?

— Обыкновенная трехлинейка. Затвора нет... В армии давно уже другие.

- Мам, а мы возьмем ее?

— Ну, зачем...

— Домой? — спросил Иван.

— Да,— освобожденно, легко ответила Юля.— Да, домой. Домой,— чему-то подведя итог, сказала она.

— Ну, пошли тогда! — громко распорядился Иван и наклонился за сумкой.

— Если бы несколько дней здесь, я бы все раскопал,— жалел Валерик.— Может, нашел бы что.

— А что тебе нужно?

— Ну, пистолет нашел бы. Или еще что. Ма, я еще покопаю! — побежал к землянке.

Обвела взглядом лагерь. Бежало по цепочке воспоминание от звенышка к звенышку, бежало, не останавливаясь; ровно освещались звенья...

То видела она страшный лес, когда осталась в нем одна, то костер и лепешку на саперной лопатке. Спящего Гриневича, Нину. Партизанский лагерь до атаки немцев — воспоминание бежало назад.

Увидела, как они едут в поезде.

Потом — не в силах удержать инерции — увидела еще раз разгневанное лицо Ивана, в тот день, когда сказала ему об измене.

И наконец Юля увидела Алексея. Он стоял, прислонившись к стене, сложив руки на груди. Он был зол и ждал последнего ее слова. Она его произнесла. Увидела, как сощурились Алексеевы глаза...

Встревоженно позвала сына:

— Валерик! Валерик, иди сюда! Тот высунулся из ямы.

— Там мины могут быть! Ну-ка иди сюда! Валерик нехотя вылез.

— Какие тут мины! Нет тут никаких мин. Я, может, пистолет бы себе выкопал.

— Он тебе не нужен. Как можно — пистолет!

— Мы бы в войну играли. Пах! Пах! — водил он рукой, стреляя в разные стороны.

— Идем, идем, папа, наверно, сердится...

Замечательны звуки просыпающейся деревенской избы.

Еще рано, еще чуть только рассвело, но вот уже заскрипела, отворяясь, дверь. Лязгнула щеколда в сенях. Скрипнула половица. Зазвенело ведро. Звякнул тяжелый засов коровника. Встречая хозяйку, шумно вздохнула и промычала корова. Переступила ногами. И вот послышался звон бьющих в дно ведра упругих струй молока...

Звуки следуют друг за другом в строгой очередности; она вековечна, эта очередность, она почти обрядна. Неторопливые звуки рождают в душе удивительное чувство покоя; звуки мира, неспешного ежедневного труда, который своей неторопливостью и обязательностью на самом деле напоминает обряд, чье, может быть, вторичное назначение—лечить душу...

Еще сквозь сон Юля слышала, как прогоняли мимо избы стадо, звенели колокольца, мычали коровы, покрикивал пастух. Тетя Маруся вывела и свою корову, пустила ее в стадо, видно, подталкивала, напутствуя ласково:

— Ну, иди, иди уже, нечего тут, ишь, разленилась, иди...

Потом Юля услыхала и голос мужа:

— Доброе утро, Марья Ивановна!

— На рыбалку собрались?

— Ага. Вон червей каких накопали. Утро уж очень хорошее.

— Хорошее; день будет нынче ласковый, дай бог, дай...— слова тети Маруси, как обычно, перешли в неясное бормотание, с каким она и ходила по избе или по двору.

Юля открыла глаза. Шло то изумительное деревенское утро, когда каждый звук, каждая замеченная мелочь лишь добавляют к светлой и покойной радости, родившейся еще во сне и укрепившейся, стоило открыть глаза. Эта радость нарастала вместе с солнечным светом, все больше наполнившим комнату через маленькое окошко, заставленное геранью; солнце веселым блеском зажигало один за другим предметы: ножницы на подоконнике, пуговицу ее халатика, лежавшего на табуретке... Она нарастала с каждым вздохом, легким, свободным, сладким — в комнату лился воздух утра, чуть прохладный, приносящий влагу и запах близкого пруда, чистой листвы деревьев, травы, дыхание полей и леса...

Все было в порядке — на душе и в природе; и никуда не надо было спешить, что-то делать, о чем-то заботиться...

И мысли улеглись — каждая на свое место, и не было ни одной тревожной...

Приятно было ощутить босой ногой мягкий старенький половичок у кровати, приятен был даже скрип половицы, приятно было услышать тиканье маятника.

Выскочила кукушка, чтобы прокуковать шесть часов, но вместо нее, давно уже потерявшей голос, за окном громко заорал петух.

(Бог мои, как редки у нас такие утра,— может быть, одно пли два случается за всю нашу жизнь...)

Набросила халатик поверх ночной рубашки, вышла па крыльцо.

По дороге мимо двора важно шествовал к пруду отряд гусей.

Улыбнулась им, их важности и целеустремленности.

Поросенок направился было к собачьей миске, но пес выскочил из будки и — надо же защищать свое добро — тяпнул поросенка за ухо, а когда тот; кинулся, вереща, бежать, еще и куснул нахаленка за хвост.

Поросенок долго и обиженно жаловался в другом углу двора на обиду, а пес, немедленно позабыв пустячный этот эпизод, уже вилял хвостом, приветствуя Юлю.

И это вызвало улыбку.

Пруд был рядом, пошла неспешно к нему.

Половину пруда покрывала ряска: рыбаки сидели под старой ветлой, они были неподвижны, неподвижны были и поплавки. Рыбаков было трое: третий — соседский мальчишка Венька, с которым подружился Валерик.

Неслышно подошла к ним, присела, стала, как и они, смотреть на поплавки.

— Па, может, червяка сменить?

— Только что менял, хватит. Валера чуть подергал удочкой, поплавок проехал по воде.

— Вень, а ты говорил, что и карпы тут есть?

— Есть. Дядя Семен весной вот такого вытащил.

Так то ж весной.

— А что, летом нельзя, что ли?

Строй гусей подошел к пруду и стал опускаться в воду. Все трое повернули к ним головы и увидели Юлю.

— О, мама!

— Встала? — и отвернулись к своим поплавкам.

— Хорошо как сегодня! — ответила Юля.

Гуси поплыли. Они скользили по глади и были похожи на белопарусную эскадру.

— Просто чудо какое-то! — не выдержала Юля.— Да посмотрите же вы на них!

Гуси направлялись в их сторону.

— Рыбу испугают,— сказал Иван.— А ну прогони.

Валерик встал и швырнул в гусей комком земли. Всплеск встал перед флагманским гусем. Тот отвернул. Эскадра сломала плавную свою дугу.

— Недолет,—сказал Валерик и взял другой ком.

— Не надо! — остановила его Юля.— Очень красиво.

И тут на берегу появилась эта страшная старуха. Кое-как одетая, седая, растрепанная, с марлевым узелком в одной руке и палкой в другой. Старуха была чем-то взволнована.

— Надо людей позвать! — бормотала она, топчась на месте.— Надо людей позвать! Людей!..

Четверо испуганно уставились на старуху. А она, обведя всех взглядом, остановила на Юле зоркие, цепкие глаза, выделяя ее из всех,— глаза укоряющие, неожиданно трезвые. Сделала шаг к ней, схватила за кисть по-птичьи сильной, сухой и холодной рукой.

— Ты! — сказала она, забрасывая голову, чтобы видеть Юлины глаза.—Ты!

— Что, бабушка? — чувствуя, что теряет сознание, спросила Юля.

Но голова старухи запрокинулась еще больше, она бросила

Юлину руку, взмахнула узелком.

— Людей,— забормотала снова.— Людей!..

— А мы что тебе — не люди? — вскочил Иван.— Вот карга!

Старуха резко повернулась и, нелепо размахивая палкой, словно отгоняя кого-то и судорожно забрасывая голову, ломаясь в поясе, ушла.

— Кто это? — чуть не закричала Юля.— Что с ней? — Жутко веяло от этой страшной всклоченной старухи, ворвавшейся в чистое, радостное утро.

— А, сумасшедшая одна,— охотно рассказывал Венька.— Она давно уже,— успокаивал он,— она с войны такая. Когда деревню бомбили, ее... это... контузило. Она не наша, ивакуиралась с дочкой, а тут немцы. Дочку убило, а она повредилась. Так и осталась в деревне. С узелком ходит — все ивакуируется с тех самых пор,— даже усмехнулся Венька, говоря про эвакуацию.— Избу ей дали, старую — так она окна крест-накрест бумагой заклеила, говорят, от бомбежки...

Юля не могла опомниться.

— Она... всегда такая?

— Всегда. Все ходит, ходит, все будто ищет кого-то...

— Боже мой!..— Но Юлино восклицание относилось уже к чему-то своему, а в глазах как бы повернулись внутрь себя зеркальца...

Иван приметил это и обеспокоенно и подозрительно посмотрел на жену.

— Черти ее принесли, эту старуху! — рассердился он.— Держали бы в сумасшедшем доме!

— Она тихая,— вставил Венька.— Ходит с узелочком, бормочет что-то. Людей все зовет. Только самолетов боится. Сразу садится, голову руками накрывает.

Юля повернулась, пошла.

— Куда ты? — Ивану не хотелось, чтобы жена опять ушла «к себе».— Подожди, я тоже домой.— Встал, смотал леску.

— Пап, мы с Венькой еще половим?

— Да ловите, сколько хотите! — Зашагал, догоняя жену.— Что тебе эта старуха? И вообще — что с тобой еще происходит?

— Ничего, Иван,— успокаивала, уходя от него, Юля.—Ничего со мной больше не происходит. Страшная она очень. Да и напряжена я здесь: будто все время на минном поле, не знаю, куда ступить.

— Пора уже успокоиться.

— Я сама знаю, что пора. Да видишь, как получается...

— Ну так поехали отсюда! — Он догнал жену.— Хватит! Или тебе еще что-то здесь нужно?

— Нет, Ваня, ничего. Можем и уехать.—Теперь они шли рядом.— Я думала, детям здесь хорошо будет: лес, ягоды, пруд, тишина...

— Им-то как раз шума бы побольше.

Дальше был завтрак. Сидели в кухне напротив огромной печи, ели жареную картошку из той же великанской сковороды, запивали молоком. Дети сидели у окошка, Юля и Иван — напротив. Валерка рассказывал о рыбалке.

— Два раза большая клевала — как потянет! Я — дерг — и нету. Не успевает заглотнуть.

— Ма,— одновременно с Валеркой говорила Наташа,— такая скучища — ну прямо сил нет. Вчера кино — событие. А картина старая! Тридцать восьмого года — представляешь? И смотрят!

Валерик гнул свое:

— Ее, может, на блесну надо... И крючок побольше — тогда бы раз — и готово. Наверно, это щука была. А у меня крючок маленький...

Юля кивала всем.

— На море хочется,— жаловалась Наташа.— Только зря купальник взяла!

— Ты в пруду купайся,— советовал, набив рот картошкой, Валерик.

— Что я — лягушка какая-то?—возмущалась Наташа.— Дно, наверно, сплошной ил, а сверху ряска—фу!

— На море я бы тоже,— соглашался Валерик.— Законно! Я бы нырял там. Ружье бы купили, подводное. Ма, а мы в лес еще пойдем?

Юля все кивала: да, да — и тому, и другому, иногда невпопад: и тому, что скучно, и тому, что в лес пойдем.

Иногда же переставала слышать голоса и уходила в себя.

«...Почему мне так кричать хочется? И чтоб ничего, кроме моего крика, не было! Ничего! А ведь что случилось? Разве что-то случилось? Ах Да! Эта старуха... - Ма! — позвал ее — уже во второй раз — голос сына.— Ма, а мы сегодня куда пойдем? В лес

пойдем?

— Вы по малину сходите. Я дома побуду, обед приготовлю, постирать немного надо.

— Ура! — сказал Валерка.— Наташк, идем? Па, идем?

— Надоели мне ваши ягоды. Ма, я лучше останусь. Я загорать буду.

— Как хочешь. А ты? — спросила у Ивана.

— Па, мы в лес! Па, в лес, да?

— Да, да — в лес,— нехотя согласился Иван.

— Ура-а! — так же вполголоса прокричал Валерка.— А тебе бы только валяться, Наташка!

— Не твое дело.

Завтрак окончен, Наталья скрылась в соседней комнате, Валерка убежал во двор, Иван вышел в сени.

— Сумку взять, что ли? — спросил оттуда.— Корзины что-то не вижу.

— Тетя Маруся, наверно, взяла. Бери сумку.

— Еды не надо?

— Сейчас сделаю бутерброды. Намазала хлеб маслом, нарезала сыр. «...Ну что мне эта старуха? Что она мне?.. Психопатка! Возьми себя в руки!»

И все же пробилась мысль, оформилась: «...Неужели и я все еще больна войной, как она?»

Уложила бутерброды в кулек.

— Вот. Во сколько вернетесь?

— Часам к двум, к трем... Наталья вышла, застегивая халатик, — под ним

купальник.

— Мам, я пошла.

— Ну, мы ушли,— сказал и Иван.

— Счастливо. Одна.

Села на скамью, уронив руки.

Ушла в себя, оцепенела. Не заметила, как навалился— утром! — сон. Уснула мгновенно; мгновенно же увидела, что...

...снова она партизанка, снова в сапогах, с автоматом. Идет по лесу, приближается к лагерю. Лес по-летнему зелен и густ. Издали еще она слышит шум в лагере — веселый, праздничный шум,

Вот чье-то «ура», вот кто-то рванул гармонь. Юля не спешила, не понимая, почему нет часовых, почему шумно.

Партизаны — весь лагерь — толпился у командирской землянки.

- Ой, Юля! — окликнули ее из землянки. Знакомый голос... Нина.— Иди скорей сюда!

— Что случилось?

— Помоги, ради бога. Не могу развязать.— Сунула ей туго завязанный вещмешок, а сама побежала в глубину землянки, на ходу стягивая с себя гимнастерку.

— Да что случилось-то?

— Ты что, не знаешь? — даже остановилась.

— Не знаю...

— Немцев разбили под Курском! Сотни тысяч! Самолеты — тысячами! Танки, орудия...

И только тут Ника, приглядевшись к Юле, всплеснула руками.

— Юля, что с тобой?!

— А что?

— Да ты ведь... я тебя узнать не могу! Что с тобой?— со страхом смотрела в лицо...— ты будто... постарела. Это ты, Юля?

— Постарела? Дай зеркальце! Посмотрелась в зеркальце Юля.

— Боже мой! Сколько же мне? А-а, теперь знаю,— и сразу успокоилась, узнав свое теперешнее лицо. Произнесла непонятное:— Какая она, оказывается, долгая...

— Кто?

— Война.

— Юля, это ты?

— Я, не беспокойся, я. Пойдем наверх,— приказала вдруг.— Я тебе все объясню. Потом.

— Пойдем,— подчинилась Нина, так и не переодевшись, все так же глядя на подругу широко открытыми недоверчивыми глазами.

Вышли — Юля закрыла лицо рукой по глаза. В толпе у командирской землянки кого-то качали.

Навстречу им бежал Женя Гриневич.

— Ты куда? — крикнула ему Нина.

Сейчас увидишь! — и скрылся в землянке.

— Ой, я ж не переоделась! Подожди!—Нина снова нырнула в землянку.

Юля сделала шаг, другой к ликующей толпе партизан.

— Юля! Подожди! — На ходу поправляя галстук, к ней в светлом гражданском костюме бежал Женя. Женя? Нет, это Алексей! Алексей?! Здесь?!

— Ну вот... пошли! — сказал он.— Ты что закрылась?

— Губы... обметало вдруг.

Юля так и шла, не отнимая руки от лица, взглядывая на идущего рядом. Кто он?

— Женя...— позвала неуверенно и тихо. Он не ответил — весь устремлен вперед.

— Алексей!

— Ты что?—обернулся он.— Ты что-то сказала? Пристальные глаза. Кто же он все-таки?

Она покосилась направо, налево. Партизанский лагерь. И ликующие крики ее товарищей. Женя. Но почему он смотрит на нее холодным взглядом Алексея?

И тогда она решилась. Отняла руку от лица и впилась взглядом в его лицо. Он посмотрел на нее — его лицо не

изменилось.

— Алексей!! Как ты попал сюда? Усмехнулся — так знакомо!

— Я ведь журналист. Прилетел писать о вас. Вдруг кинулась вперед, к толпе.

— Ребята! — дергала за рукава, толкала даже, показывала пальцем на Алексея.— Товарищи! Он не Женя! Это совсем не Женя! Это Алексей! Я его знаю! — кричала как в исступлении.

— Какой Женя? — Обступили. Молчали. С недоумением смотрели на нее.— Ты что, Юля? Женя ведь погиб. Ты разве забыла? Еще зимой... Это Алексей Горяинов, журналист...

— Но ведь он совсем другой! Они только внешне похожи! Внешне! — истерично и непонятно кричала она (не наш! не наш! — слышалось в ее голосе).— А он совсем другой! Я думала... Как вы не понимаете!

— Юля.—Это командир.—Юля! — Наклонился к ней.— Ты ошиблась? Идем со мной. Ты хорошо сделала, что пришла к нам. Успокойся, девочка.

Тебе плохо?

— Да, да! — кивала головой.— Да, очень! Плохо!..

И он гладил ее волосы, прижимал ее голову к себе, ласкал, как девочку, маленькую, плачущую, обиженную...

Откинувшись спиной к бревенчатой стене, сидела Юля на кухне перед неубранным столом: глаза были закрыты, руки лежали на коленях. Спала? Нет, не спала. Но почему же сон?

— Побудь немного здесь, с нами, побудь здесь, девочка,— явственно слышала она голос командира и снова оказывалась в лесу, в лагере, во сне.— У нас сегодня большой праздник, мы снова вместе, побудь здесь.

— Федор Иванович,— спрашивала она,— вы помните Женю?

— А как же.

— Какой он был?

— Гриневич? Такой, как все мы в те годы. Как ты, как я. Ты его любила?

— Да.

— Мы все любили его. Он стоил этого.

— Федор Иванович! А вот мы... вы и я... и они— мы все в чем-то не такие, да?.. Как все?..

— Конечно.— Рука его остановилась у нее на волосах.— У нас у всех одинаковое прошлое. Мы все помним одно и то же. Оно нас сроднило. Навсегда. Это наше счастье...

— Счастье?

— Да. Мы никогда не будем одиноки. Только последнему

оставшемуся в живых будет страшно, как никому.

— Вы сказали: счастье. Разве только оно? Командир ответил не сразу.

— Нет. Не только. Не только. С войны, Юля, вернуться не дано. Ни мертвому и ни живому — не дано.

— Как?!

— Разве ты этого еще не поняла? Ведь все мы здесь только поэтому. Признаюсь: мы не ждали тебя. Я и обрадовался, когда увидел, и огорчился: ведь ты была для нас той, ради кого мы воевали. Знаешь, как мы смотрели на тебя? Что думали? Вот кому жить после войны! Жить, любить, ласкать детей, не зная ни выстрелов, ни мин, ни бомбежек. Не помнить о них. Мы берегли тебя от войны сколько было возможно, и не наша вина, что не уберегли. Через столько лет ты все-таки пришла к нам. Вернулась?

— Вернулась,— отозвалась Юля. Она встала. Поднялся и командир. Он был в потертой, плотно облегавшей его полноватое тело гимнастерке с орденом Красной Звезды. И совсем не такой пожилой, каким казался тогда, особенно из-за бороды.— Я не могла не прийти, Федор Иванович.

Потом она шла по партизанскому лагерю, шла, словно воротившись после долгого отсутствия домой. Ласкала взглядом и рукой все, до боли в, груди, до слез знакомое: вот ее землянка, скамейка у входа, умывальник, прибитый к дереву... А как выросла эта сосна, как высоко вознеслась ее верхушка!

Ей кивали, здороваясь, крепко жали руку, хлопали по плечу, махали издали, окликая. Они все были такие, какими Юля их запомнила. И она — разве не такая же в этот день, не та же, что все вокруг, не семнадцатилетняя?

Тяжесть, что давила па плечи еще сегодня, спадала, легче шлось, свободнее дышалось, слова срывались с губ по-давнему легкие, по-родственному приветливые.

И какие счастливые слезы набегали на глаза!

Она вернулась! Вернулась!

Вдруг услышала сквозь шум и гомон гитару. К ней сходились, сбегались отовсюду, видно, зная певца; Юля заторопилась к нему, на ходу вспоминая, кто же у них играл на гитаре и пел. Только очутившись перед ним, вмиг узнала Серегу из соседнего взвода. Как она могла забыть его! Песен он знал множество, подозревали, что иные сочиняет сам, но Серега в этом не сознавался и, защищаясь, называл авторов и даже сборники, г якобы, он эти песни нашел.

Серега настроил гитару, поднял голову, подмигнул Юле, увидев ее перед собой, и начал:

Война и любовь не уходят из сердца...

У Юли перехватило дыхание: она поняла, что Серега поет для нее, про нее.

Война и любовь не уходят из сердца. Три жизни, наверное, надо прожить — Но бой свой последний вовек не забыть. В три жизни любимого не разлюбить — Любовь и война не уходят из сердца!

Она опустила голову, чтобы никто не видел ее глаз, но все равно замечала напротив окаменевшие лица, слезы и то напряженное внимание, каким окружили песню.

Стояли вокруг них, вытянувшись в струны, высокие сосны, строгие, молчаливые. Соединили плечи и головы там, наверху, тихонько покачивались, глядя на людей внизу, собравшихся возле песни.

А если любимого пуля сразит
В том самом, последнем и страшном бою...

Юля почувствовала на своей руке чью-то теплую и твердую ладонь, не оборачиваясь, узнала Нину. По-бабьи прижались друг к дружке, не стесняясь, заплакали, неизвестно — и известно — чему.

И если неведомо, где он лежит,—
Ничем не измерить кручину свою,—
Война и любовь не уходят из сердца!

Серега кончил, сильно ударив но струнам, дал позвучать аккорду и разом заглушил его ладонью.

Прошумели, освобождаясь от напряжения, верхушки сосен.

Люди зашевелились, стали поднимать головы, словно сваливая с себя какой-то груз, завздыхали.

Кто-то произнес было первое слово, но тут послышалось невдалеке такое властное «ку-ку», что все снова замерли, как если бы опять началась песня. И Серега застыл, подняв к кукушке голову, а обе его руки лежали на струнах, прижав их.

Тиканье ходиков дошло наконец до сознания. Открыла глаза, поискала, нашла часы на стене слева от двери.

- Тик-так! Тик-так!

Как и прежде, она сидела в кухне, привалившись спиной и головой к бревенчатой стене, перед ней неубранный стол.

Обеспокоенно взглянула на ходики. Полдвенадцатого!

Встала, спеша начала убирать на столе. Мыла тарелки, вытирала их, ставила на полку, рассовывала по местам вилки и ложки. Терла клеенку, прислушиваясь к звукам во дворе.

Оглядела кухню; задвинула под стол табуретки, расправила на вешалке полотенце.

Перешла в комнату. Постели, конечно, оставлены на нее,— застелила. На Валеркиной рубашке, что валялась на стуле, уже нет одной пуговицы — стала пришивать. Потом проверила мужнину, одна из пуговиц болталась, взялась за нее.

Из окна, заставленного зеленью, занавешенного, хоть и открытого, проникали в комнату звуки двора.

Переговариваются, расхаживая, куры.

Поссорились из-за чего-то и раскричались воробьи, и сердито рявкнула на них разомлевшая на солнце собака.

Закудахтала несушка, всей деревне сообщая о снесенном яйце.

Кто-то пронес мимо их дома поскрипывающие на коромысле ведра, с кем-то перекликнулся приветным словом.

Услышала приближающиеся к дому громкие голоса, подняла голову, встревожилась.

— Ма-ма! — еще не дойдя до двора, вопил Валерик.— Ма-ма-а!

Она бросилась через кухню и сени во двор, рубашка с воткнутой в ткань иголкой упала на пол.

Сын стоял у крыльца. В руках у него был большущий гриб-боровик: пальцы еле сходились на толстой ножке.

— Ма! — счастливо кричал он.— Смотри! Это я нашел!

Иван шел к ним через двор с двумя сумками в руках и тоже улыбался. Из-за забора завистливо глядели на гриб пятеро ребятишек, провожавших Валерку с его находкой от околицы до самого дома.

— Ма, слышишь? — захлебываясь, тараторил Валерка.—Я папке говорю: вон там должны быть грибы. А он говорит: какие там грибы, там же трава, говорит, низина. А я пошел. Мам, слышь, я смотрю — пенек. Даже посидеть на нем хотел... Подхожу ближе — а это гриб! Ма, хочешь подержать? Только осторожно... — И Валерик передал матери тяжелый, прохладный, с коричневой чуть влажной шляпкой и толстой твердой ножкой гриб.

Она взяла его обеими руками, поднесла к лицу вобравшее в себя запахи лета и леса дремучее чудо— и задохнулась, закрыла глаза...

— Он его всю дорогу на руках, как младенца, нес! — не меньше сына радовался Иван, глядя на жену.

Юля подняла от гриба глаза и засмеялась — легко и освобожденно...